
СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ РАССКАЗ

Евгений Скоблов
(г. Москва)

КРАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД-68
(глава из повести «Коллекционер Будущего»)



Прозаик, член МГО Союза писателей России, Академии российской литературы. Автор тринадцати книг прозы. Участник российских и зарубежных периодических литературных изданий. Лауреат литературных премий имени А. П. Чехова, имени М. Ю. Лермонтова, дипломант нескольких конкурсов «ЛУЧШАЯ КНИГА» Московской городской организации Союза писателей России

Дело было, когда я учился в первом классе самой лучшей школы (по мнению большинства родителей) лучшего города, в лучшей стране мира под названием СССР. Первоклашка лишь начинает знакомиться с большим и прекрасным миром за пределами дома родного — все для него ново, все привлекает внимание и вызывает интерес. Все хочется узнать, увидеть, подержать в руках. Сейчас я совершенно уверен, что увлечений и интересов у первоклассника никак не меньше, а может быть, даже и побольше, чем у почти взрослого, очень умного и важного выпускника средней школы.

Как и большинство моих друзей-приятелей, я увлекался собирательством. У нас все что-то собирали — кто значки, кто почтовые марки, кто этикетки со спичечных коробков или фантики от жвачек. Я коллекционировал почтовые марки, и к этому занятию меня привлек папа, он сам был серьезным коллекционером и крупным специалистом в филателии. Папа мне объяснил, что если уж собирать марки, то не все подряд, а придерживаться какой-то определенной тематики. Во-первых, это интереснее, а во-вторых, собирать все подряд не имеет смысла (всего не соберешь) и просто глупо. Разумеется, я выбрал тему «животный мир», как и другие мои друзья — юные филателисты.

Папа всегда интересовался, как продвигаются мои дела на ниве филателии, что нового приобрел, что интересного узнал о тех странах, где выпущены те или иные марки, что за животные изображены на марках, каких пород и где они обитают. Иногда он сам участвовал в пополнении моей коллекции — приносил из городского отделения Всесоюзного общества филателистов очень интересные, красивые и редкие марки.

Но однажды папа принес и подарил мне не новые марки, а серию замечательных значков, посвященных городу Ленинграду. К маленькой золотистой колодочке, на

которой была выгравирована надпись «Ленинград», крепился небольшой, тоже золотистый четырехугольник. На его поверхности, покрытой то ли эмалью, то ли пластиком, размещалась металлическая нашивка с изображением Стрелки Васильевского острова. Всего было три значка: с красным, синим и зеленым покрытием. Они, как новенькие медальки, сверкали, когда на них попадал свет, притягивали и завораживали. Это было настолько красиво, что я подолгу не мог оторвать от значков взгляда.

Правда, меня немного расстраивало то, что я не собирал значки, и, по большому счету, не знал, что с ними делать. Они просто лежали у меня в коробочке, и я периодически ими любовался. Конечно, я не мог не принести их в школу, чтобы показать своим приятелям — одна из самых повторяемых ошибок моего детства. И юности. И взрослой жизни тоже... Принести в школу (в институт, на работу) и показать друзьям то, чего у них нет, и что они тут же отчаянно захотели бы иметь!

Тогда со мной «водился» один мальчик, звали его Мишка, по прозвищу Боба. Правда, дружком моим он был лишь иногда. Гораздо важнее было то, что мой папа и его отец (большой начальник) были знакомы и притягивались. А много позже, когда потребовали обстоятельства, отец Бобы помог моему папе с устройством на работу.

Сам Мишка Боба был фигурой очень неоднозначной. Без сомнения одаренный, и, возможно, самый умный мальчик в нашем классе, в начальной школе он был круглым отличником. В пятом классе он решил, что все что ему было нужно, он уже узнал, и забросил учебу. В каждый новый класс он переходил, едва вытягивая на тройки все предметы, и делал это сознательно. Миша не хотел учиться, а хотел заниматься тем, что ему нравилось. Он был замечательным фотографом и освоил это дело профессионально. В девятом классе его назначили официальным школьным фотографом, и даже выделили под фотолабораторию специальное помещение — бывший туалет на четвертом этаже. Фотолаборатория Бобы была обклеена плакатами, разными интересными художественными фотками, вырезками из иностранных и отечественных журналов и прочим. Мы, великовозрастные оболтусы, любили «забуриться» к Бобе в фотолабораторию, чтобы позубоскалить и пообсуждать девчонок на перемене. Кроме того, Боба оказался исключительно талантливым художником, что называется, от Бога. Однажды, в старших классах, когда я заглянул к нему в гости (он жил неподалеку от школы), то увидел на стене большой портрет отца Бобы, работы самого Бобы, мастерски выполненный маслом. Честно говоря, я был поражен, и очень рад за Бобу.

Что же сам Боба... Будучи, в общем, добрым мальчиком, он хулиганил по-мелкому в младших классах, любил в шутку поиздеваться над одноклассниками, особенно нашими отличниками и активистами в средних классах. А в старших вдруг полностью переменился. Боба стал не по возрасту мудрым и печальным. Казалось, что он в один момент из мальчика сразу превратился во взрослого мужчину. Позже, через десять лет, на нашу встречу выпускников-одноклассников приехал дядя с окладистой бородой и взглядом умудренного жизнью старца. Его даже не все сразу узнали...

Но тогда, в 1968 году, когда я имел неосторожность принести свои значки «Ленинград» в школу, Мишка очень захотел, чтобы они были не у меня, а в его коллекции. Очень-очень захотел. Он, кстати, собирал значки, и его к тому времени уже довольно большая и богатая коллекция размещалась в специальных дорогих заграничных, с обтянутыми велюром страницами, альбомах. И я мог дать руку на отсечение, что подобных альбомов в городе больше не было ни у кого. Я во всяком случае не встречал.

Бобе были очень нужны мои значки. Наверное, он считал, что без них его коллекция была неполной. Да что там! Эти значки стали бы украшением, изюминкой всей коллекции Бобы. Мишка стал ходить за мной буквально по пятам и кланчить значки. Сначала он давил на то, что мы с ним друзья, а друзья, как известно, должны

делиться друг с другом значками. Потом убеждал меня в том, что если я собираю марки, то никак не должен собирать еще и значки, потому что «это нечестно». Угрожал, что больше никогда не будет со мной дружить, если я не отдам ему серию значков «Ленинград». Но я был непреклонен, потому что серия «Ленинград» нравилась мне самому, а потом, я ведь знал, что папа может расстроиться, если узнает, что я кому-то отдал его подарок.

Однажды Мишка подошел ко мне на большой перемене и с видом заговорщика отвел в сторонку. Оглянулся по сторонам, не подслушивает ли кто, прошептал, что ему удалось «достать» целое богатство. А именно, самую первую, самую ценную, и, разумеется, самую дорогую почтовую марку в мире!

— Это — «Розовый Маврикий»,— громко шептал он мне в самое ухо,— таких в мире всего несколько, и те бракованные. Есть еще «Голубой Маврикий» и «Оранжевый Маврикий»...

И он показал мне аккуратно уложенную в специальный «марочный» прозрачный пакетик маленькую беззубцовую марку бледно-оранжевого цвета с изображением профиля какой-то тетки. Самое интересное, что раньше я уже слышал (возможно, даже от папы) о таких марках, о том, что их очень мало, что они очень старинные и ужасно дорогие. Но чтобы у Бобы вдруг появилась одна из таких марок, было выше моего понимания. И, тем не менее, я ее держал в руках, и почти не сомневался, что приятель говорит правду. Во-первых, потому что октябрята никогда не врут, а во-вторых, потому что был абсолютно уверен, что в Советском Союзе было возможно все, в том числе и раздобыть Первую Почтовую Марку в мире!

А Боба продолжал мне что-то нашептывать, в чем-то убеждать. Он говорил, что готов отдать мне такое богатство лишь только потому, что сам он марок не собирает. И просит он за эту «ценную редкость» всего лишь каких-то три «вшивых» значка! Честно говоря, я был сбит с толку основательно и окончательно. Все же, где-то в самой глубине души, я сомневался, но мальчиком был безотказным. Ему очень хотелось иметь значки «Ленинград», и он вертел пакетиком с «Розовым Маврикием» перед моим носом, показывая обратную сторону марки с безупречным клеевым слоем. В итоге я сдался. Махнул рукой и согласился. В сущности, этот «Розовый Маврикий» самому мне был ни к чему, ведь я же собирал «животных». И пусть даже первая марка в мире, если на ней изображен непонятно кто, никак не вписывалась в мою коллекцию.

— Значки при тебе? — деловито осведомился мой друг.

Я сказал, что нет, не при мне, но завтра принесу.

— Только ты обязательно принеси,— заволновался Боба,— а то мне за эту марку один знакомый целый альбом значков дает. А другой мой знакомый из клуба филателистов предлагает десять рублей, понял?! Но ведь я же для тебя как для друга, сам понимаешь...

На следующий день обмен состоялся, снова на большой перемене. Боба пересчитал значки, спрятал их в карман, как-то странно усмехнулся и убежал. Весь следующий урок я тупо разглядывал маленький желтый квадратик, ломал голову, почему же он называется «Розовый Маврикий», раз желтого, почти оранжевого цвета, в общем, не понимая, зачем он мне понадобился... И еще... мне было очень жаль моих значков, почти до слез жаль.

Вечером дома я показал марку папе, и сказал, что отдал за нее те значки «Ленинград», которые он мне принес из Всесоюзного общества филателистов.

— Это «Розовый Маврикий»,— сказал я, и не очень уверенно добавил,— самая ценная марка в мире...

Папа, лишь мельком взглянув на марку, внимательно посмотрел мне в глаза. Потом погладил по голове и мягко сказал:

— Тебя обманули, сын. Это не «Розовый Маврикий». Это вообще не марка. Но не расстраивайся, в мире коллекционеров много нечестных людей, попросту жуликов. В следующий раз будешь повнимательнее. И еще запомни: потерять гораздо легче, чем найти.

Все. Больше папа мне ничего не сказал, а я на следующий день потребовал у Мишки назад свои значки. Но Боба рассмеялся мне в лицо, и сказал, что ни за какие коврижки их не отдаст. Мена состоялась — возврата нет и быть не может, потому что назад вещи никто и никогда не меняет. А еще через день он смеялся еще больше, гадливо похрюкивая. Он признался, что эту бумажку вырезал из какого-то журнала, где и прочитал про «первую марку в мире». А клей, самый обыкновенный, с почты, сначала намазал спичкой, а потом равномерно размазал пальцем. Еще Боба рассказал об этом в классе, чтобы все наши друзья, и, особенно, девчонки, узнали, какой я дурак, и какой ловкий и умный парень Боба. Как я уже говорил, он и был самым способным, талантливым и развитым мальчиком в нашем классе в то время.

Что до меня, то грустил я недолго. Настали другие дни, пришли новые марки, новые книги, новые увлечения. А через несколько лет, когда мне пришлось побывать у Бобы дома, я увидел свои значки на самом почетном месте (только эти три значка на целом листе!) в одном из велюровых альбомов. Я смотрел на них со светлой грустью, но вернуть назад даже не попытался. Почему, не знаю...

С тех пор миновала целая жизнь, изменилось все, кроме, пожалуй, памяти. В июне этого года мы с женой поехали на «Вернисаж» в Измайлово, где любим побродить среди предметов и вещей Прошлого и Прекрасного, Прекрасного Прошлого, в общем. Не могу сказать точно, что меня остановило у этого продавца значками, но я стал просматривать его «товар», переворачивая одну за другой матерчатые планшетки. И... я увидел то, что, наверное, и должен был увидеть через Вечность. Это был один, из той самой серии «Ленинград», значок со Стрелкой Васильевского острова на красном фоне. Я тут же присвоил ему собственное имя — «Красный Ленинград-68». Вспышка в памяти, и все вернулось! Все-все, до мелочей, вспомнилось. Я смотрел на маленький красный прямоугольничек на золотистой колодке, и чувствовал волну какой-то светлой тоски (хорошо, хоть из глаз не закапало), и одновременно, облегчения. Вот он, мой «Ленинград», у меня в руках, оттуда, из 1968 года. Конечно, я его тут же купил. Продавец отдал недорого, но если бы он запросил две, три цены, или даже пять, я бы купил, не торгуясь. Ибо память бесценна, и ее вещественные свидетельства тоже. Я только сказал бывшему коллекционеру, а ныне реализатору, что должны быть еще два, на что он покивал головой, мол, да, знаем такое дело, но у него не имеется.

По приезду домой я зашел в Интернет и после недолгих поисков обнаружил изображение всех трех значков серии. Более того, я узнал, что имеется еще и другие подобные значки: Стрелка Васильевского острова на светло-бежевом и памятник Петру I на черном и зеленом фоне. Очень красивая серия «Ленинград». Но еще красивее то, что я о ней вспомнил и начал поиск.

Первым из «возвращенных» стал «Красный Ленинград-68»



Федор Ошевнев
(г. Ростов-на-Дону)



«Я СВОИХ РЕШЕНИЙ НЕ МЕНЯЮ!»

Ростовчанин Федор Михайлович Ошевнев — выпускник Литературного института им. А. М. Горького. Постоянный автор «Приокских зорь».

Майор полиции Михаил Глоткин — мужчина с тонкими гармоничными чертами лица и усами типа карандаш — энергично постучался в облицованную дубовым шпоном дверь и приотворил ее. За нею находился кабинет заместителя начальника областного УВД — он же начальник Управления кадров.

— Разрешите, товарищ генерал? Секретарь передала, что вы вызываете...

— А-а, это ты,— оторвался от чтения очередного документа восседавший за обширным двухтумбовым столом генерал-майор полиции Тертерян — упитанный, с узким лбом под низкой линией густых, слегка выющихся волос и с миндалевидными карими глазами,— заходи, присаживайся.

— Есть...— Михаил подошел к приставному столику, образовывавшему в купе с двухтумбовиком букву «т», и опустился на мягкий стул.— Слушаю вас.

— И внимательно! — уточнил Тертерян.— Я тебя зачем вызвал: прочел, значит, твой отчет о привлечении населения к охране общественного порядка и глазам не поверил. Объясни: тебя сюда, в УВД, для чего брали? Классный специалист, классный специалист... А на деле? Да за что я тебе деньги плачу? Я твою работу делаю! Что у меня, своих проблем мало, еще и за тобой хвосты заносить! Как же! — и негодующе хмыкнул, наморщив удлинненный, с горбинкой нос.

В штат областной полиции майор был зачислен три месяца назад, а до того немало лет прослужил корреспондентом окружной газеты. Начинал же лейтенантом, командиром взвода в учебном полку. Но, окончив потом заочно факультет прозы Литературного института — случай для профессионального военного, прямо скажем, редчайший,— был переведен в армейское издание, резко сменив профиль строевого офицера на стезю штатного военного корреспондента.

Им и отработал почти десять лет, впрочем, из-за ершистости характера так и не поднявшись карьерно хотя бы до начальника отдела газеты.

И тут наступил год 2010-й, когда решением на высшем уровне с военных журналистов, врачей и юристов сняли погоны, сделав эти должности гражданскими. На тот момент майору Глоткину еще не исполнилось сорока лет и права на пенсию (при минимуме двадцати прослуженных «календарей») он заработать не успел. С переводом к новому месту службы тоже не срослось. Так что система безжалостно выкинула человека в безденежную отставку. Ладно хоть, уже с жилплощадью...

Промыкавшись с год, то сторожем, то грузчиком, отставник сумел-таки пробиться в кадры областной полиции. Да, там имелась собственная пресс-служба, однако

вакансии в ней тогда отсутствовали, а вот в отделе воспитательной работы (ОВР) как раз освободилось место старшего инспектора.

Обязанностей здесь офицеру вменили немало: написание приветственных адресов и проектов различных приказов, проведение служебных расследований и взаимодействие с ветеранами УВД, организация всяческих праздников, конкурсов, встреч и — се ля ви — похорон. А еще ему надлежало исполнять функции спичрайтера — составителя текстов речей и выступлений для руководства УВД. Подобрать для подобной работы конкретного исполнителя оказалось проблематично, так что кандидатура опытного журналиста, еще и побывавшего в «горячих точках», пришлась весьма кстати — он новую для себя полицейскую тематику добросовестно осваивал. И сейчас откровенно не понимал причины столь явного недовольства большого начальника.

— Так в чем, собственно, проблема? — осторожно уточнил Михаил.

— Да в том самом! Чти: ты как здесь написал? «По инициативе генерала Тертерьяна...» Эрудит! Уж тебе-то по долгу службы пора бы знать: моя фамилия не склоняется! Вот!

— Извините, товарищ генерал, — негромко, но твердо возразил майор. — По закону русской грамматики она склоняется, как и всякая иная мужская, оканчивающаяся на согласную. Это женские фамилии такого рода не склоняются.

— Что ты мне тут сказки рассказываешь! — не поверил генерал. — При чем здесь русская грамматика, если у меня армянская фамилия? Ну?

— Языковое происхождение в данном случае значения не имеет, — твердо стоял на своем Глоткин. — Правил, что подобные армянские или еще какой-то национальности фамилии не склоняются вовсе, не существует. Нет, конечно, может быть, в вашем родном языке в этом плане все обстоит по-иному. Но совершенно точно знаю, что в русском фамилия, равно как и любое другое слово, должна подчиняться грамматическим законам.

— Грамматик какой, однако! — буркнул Тертерьян. — Читать-писать умеет! — Пожевал губами и поинтересовался: — А ты вообще-то откуда все это знаешь?

— Так меня ведь русскому языку в Литинституте лучшие профессора учили...

— Что, умный чересчур или как? — подковыристо спросил генерал и подытожил: — Ну и иди тогда отсюда! Специалист, понимаешь, нашелся! Ага!

Майор полиции выдал: «Есть!» — и удалился, унося в душе обиду.

Недели через две он вновь предстал перед генеральскими очами.

— Вот ты тут написал «согласно приказу», а надо «согласно приказа», — даже не поздоровавшись, с места в карьер, напористо обвинил подчиненного Тертерьян, и его рот с тонкими губами искривился насмешкой. — Лучшие профессора его учили! Да за что я тебе деньги плачу?

— Товарищ генерал, предлог «согласно» употребляется только с дательным падежом, отвечая на вопрос «кому-чему», а значит, «приказу». И еще есть вариант: предлог «согласно с» — тогда «чем», творительный падеж, «приказом». Но ни в коем случае не с родительным — «чего», «приказа», — пояснил Глоткин.

— Этого не может быть! — рявкнул генерал и раздраженно бухнул кулаком по столу. — Ты вот меня так убеди, чтобы я поверил! Доказательство представь! А?

— Так точно. Сейчас. — И Михаил шагнул к двери.

— Ты куда это собрался?

— За доказательством.

— Не понял...

— Ну... Вы же требуете вас конкретикой убедить, так я сейчас, быстро...

Глоткин принес Тертерьяну «Словарь русского языка» С.И. Ожегова, открыл на нужной странице, авторучкой указал на ней место:

— Товарищ генерал, прочтите. О предлоге «согласно». Тут совсем немного.

Тертерян с явной неохотой нацепил очки и уткнулся в текст, осмысливая его. Убедившись наконец в правоте подчиненного, в раздумье забарабанил короткими пальцами по столу. Но вот лицо начальника исказилось в гнев, крупные уши с четко очерченными мочками быстротечно порозовели, и он повысил голос:

— То есть ты хочешь сказать, будто я целых двадцать пять лет прослужил и все это время неправильно писал? Милое дело!

— Товарищ генерал, но вот же перед вами словарь...

— Хрена ты мне им тычешь? Умник нашелся, е-пэ-рэ-сэ-тэ! Литераторный он окончил! Да пош-шел ты вместе с этим талмудом знаешь куда? — И генерал негодуя смыхнул большеформатную книгу со стола. — Интеллектуал, твою дивизию! Кулибин! Не голова, а Дом советов! Ага!

— За что же вы меня так нещадно? — поднял Михаил неповинного Ожегова с подломанным уголком обложки. — И при чем тут книга?

— А за то самое, что нечего свою большемозгость перед начальством выпячивать! Иди, и чтоб больше не сметь тут всякими энциклопедиями козырять!

С того дня меж писучим подчиненным, которому до права выхода на «пенсион» оставалось прослужить около двух с половиной лет, и энергичным амбициозным начальником стартовала своего рода игра в одни ворота. Было понятно, что гонористый руководитель загорелся идеей фикса: поймать строптивца хоть на какой-то некомпетентности по части знания русского языка. Посему время от времени генерал требовал майора к себе «на ковер» и задавал очередной каверзный «языковой» вопрос, на который сам уже ответ ранее вызнал.

Так, однажды Тертерян заставил Глоткина под диктовку писать слова «постимпрессионизм» и «предымпрессионизм», а потом натужно выяснял, почему в одном случае после приставки стоит «и», а в другом «ь», и затем — как это все соотносит с неукладывающимися в правило глаголом «взирать» и существительным «педиститут»*.

В другой раз генерал проверил майора, хорошо ли он знает, в каких случаях «не» с глаголами пишется слитно, а в каких — раздельно. Да с примерами чтобы.

А в один прекрасный день потребовал разъяснить, почему к группе прилагательных-исключений, пишущихся с удвоенным «н» в суффиксе «ян» — «оловянный, деревянный, стеклянный», — не добавляется еще слово «окаянный». И был весьма недоволен, что подчиненный оказался в курсе: поскольку оно образовано вовсе не от имени существительного, обозначающего материал (как три упомянутых, составляющих группу исключений), но происходит от глагола «окаять» — то есть отлучить от церкви, являясь однокоренным с «каяться».

Начальник ОВР подполковник полиции Попенко, в непосредственном подчинении которого находился Михаил, неоднократно пенял тому:

— И кто тебя изначально просил вылезать со своим длинным языком? Ну заявил генерал, что его фамилия не склоняется, — есть, виноват, исправлюсь! Ну уперся, что «согласно приказу» правильное — ладно, так точно, зафиксировал! Спасибо за науку! Самого же его чему-то пытаться научить... Хронически противопоказано! Он себя всегда и во всем считает великим экспертом. Да, круто завышенная самооценка, да, порой несет ахиною, но что тут поделаешь — генерал!

— Но он же требует нарушения грамматических норм! — возмущался Михаил.

— А кому с того холодно или жарко? Думаешь, во всех учреждениях великие

* После русскоязычных приставок, оканчивающихся на согласную, вместо «и» пишется — как слышится — буква «ь» (история — предыстория), но в случаях иноязычных приставок «и» на письме сохраняется (игра — контригра). Глагол взирать — исключение. На сложносокращенные слова, типа «педиститут», «спортивный», это правило не распространяется.

знатоки русского языка сидят? Другой раз в адресованном нам документе такое читаешь — просто диву даешься! Грамотность ниже уровня первоклашек!

— И еще бранится всякий раз, причем, чем дальше, тем хлеще! — продолжал до-садовать Глоткин.

— Ха! Удивил! Да ты с ним куда реже общаешься, а вот меня или зама он за день трижды на три буквы послать может! Но ведь мы же терпим, что и тебе настоятельно советую. Потому как, в конце-то концов, на деле никто никуда вовсе не идет. Забудь! Без мата жить нельзя на свете, нет... Или, может, когда взводом командовал, всегда чисто на «вы» с солдатами изъяснялся? Убей — не поверю!

— Ну, знаете... Это ж совсем другой коленкор!

— Другой, не другой... Пойми, правдолюбивая твоя душа, нельзя в жизни быть тупо прямолинейным! Иногда для пользы общего дела, а главное, и для себя самого кое-чем поступиться не грех.

— Смотря когда и смотря чем именно.

— Спасибо, что хоть с этим согласился. А то прямо как сталинский министр иностранных дел Молотов, которого в дипломатических кругах за непримиримую позицию, демонстрируемую по многим вопросам, прозвали Господин Нет...

Наконец регулярно экзаменуемый генералом старший инспектор дослужил до двадцати исполнившихся «календарей». И как раз через несколько дней после значимой для Глоткина даты Тертерян вновь выдернул его в свой просторный кабинет, увешанный многочисленными вымпелами и грамотами в рамочках.

— Так, корифей русского языка... Разбери-ка ты мне по составу слово «вынуть», — после традиционного приветствия потребовал руководитель. — Ну-ка?

— Пожалуйста, — вздохнул майор: он интуитивно предугадывал, что сегодня испытание на грамотность грозит закончиться скандалом. Однако не рапортовать же: «Не могу знать!» — Значит, «вы» — приставка, обозначающая действие изнутри наружу, «ну» — суффикс однократности действия, «ть» — окончание инфинитива либо формообразующий суффикс: тут ученые в суждениях расходятся. Корня же в «вынуть», на первый взгляд, вовсе нет, хотя он и имеется. Весьма особое слово...

— То есть? — сделал резкое движение головой в сторону от Глоткина уже потерявший было нить разъяснений экзаменатор, но суть последних предложений уловивший-таки. — Мне доцент из университета именно и объявил: нет вообще! Или поиному, — генерал заглянул в подобие шпаргалки, — вот: корень нулевой.

— Да, такое мнение бытует. Если плясать от родственного слова «вынимать», где буква «н» входит в корень «ним», то при образовании от него «вынуть» получается, что суффикс «ну» отсекает весь корень. Это чтобы избежать непонятого удвоения согласного, ведь произносить «выннуть» нам было бы куда менее комфортно. Но поскольку, по нормам русского языка, корень является основным и обязательным элементом любого слова, то... В общем, самое интересное: в глаголе «вынуть» буква «н» одновременно является и корнем, и частью суффикса, а само явление носит название наложения морфем. Иными словами, хотя формально в структуре слова корень не выделишь, в его внутренней форме он присутствует.

— Ты меня совсем запутал! — с ехидцей перебил скрестивший на груди руки и насупившийся генерал. — Так он есть или нет? Будто?

— Ну... Как вы пожелаете, так и считайте, — пожал плечами Михаил, вспомнив советы начальника отдела. И не удержался, зримо чувствуя за спиной свое пенсионное право: — Собственно, для УВД-то разницы никакой...

— А-а-а, ты, значит, утверждаешь, будто я ничего в русском языке не смыслю? — вмиг вспетушился Тертерян, упершись ладонями в подлокотники кресла, и весь по-сунулся вперед, к оппоненту. — Да за что я тебе деньги плачу?

— Вам виднее,— уклончиво ответил майор. И внезапно закусил удила: — Во всяком случае, уж явно не за то, чтобы морфемный анализ выборочных слов делать. Никак не входит это в мои служебные обязанности. За ради чего же не мытьем, так катаньем вы стремитесь уличить меня в профнепригодности? Чтобы опустить ниже плинтуса и торжествуяще ноги вытереть? И насчет моего денежного довольствия из вашего личного кармана... Однозначно перебор!

— Вон из кабинета! — завопил опешивший поначалу от «бунта гарнира» генерал, и его слегка скошенный в одну сторону рот — признак горячего нрава — хищно приоткрылся, обнажив мелкие зубы.— Завтра же уволю! По негативу! Вот!

Подчиненный поспешно ретировался. И затем весь остаток рабочего дня отрешенно просидел перед включенным компьютером, так и не закончив проекта очередного приказа. В сознании почему-то всплыл факт, что — это Глоткин как сам подметил, так и слышал от сослуживцев — руковод-экзаменатор лишь в течение нескольких секунд может смотреться в зеркало. А непереносимость зеркал зачастую указывает на нелады психики — несдержанность, нетерпимость к критике, сверхдоходность и заикленность на чем-то, подчас на собственной внешности.

Впрочем, старший инспектор знал и другое. Что в конце девяностых — начале двухтысячных Тертерян неоднократно выезжал в «горячие точки» и по итогам таких служебных командировок награжден орденом Мужества, а также медалями «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка».

И еще. До сих пор в игре в одни ворота майор ни разу не спасовал. Но до бесконечности это продолжаться не могло. Ведь о том же нетривиальном бескорневом случае он лишь мимовольно услышал в общежитии Литературного института. Позднее же, из любопытства, обратился за более подробным разъяснением этого лексического феномена к лектору, читавшему курс современного русского языка. Потому-то через много лет и смог защититься...

Переболев ангиной, на следующий день на службу вышел начальник ОВР. И после утреннего общения с генералом тут же потребовал к себе Глоткина.

— Ну ты и нагероил! — осуждающе начал подполковник.— Это ж надо было так его раздраконить! Рвет и мечет! Что ж, давай послушаю твою версию...

А послушав, заявил:

— Ты сам во всем виноват! Сколько раз пенял: не возражай, не раздражай, не обостряй! Теперь вот генерал кричит, что тебя уволить надо... Ладно, это, конечно, он перебесится, только не в одночасье. В командировку, что ли, дней на несколько тебя угнать? Хотя к нему же за «добром» на посыл и идти. Зарубит!

— Да я, собственно, против увольнения вовсе не возражаю,— вклинился в монолог начальника Михаил.— Пенсию-то, слава Всевышнему, уже заработал.

— То есть? — аж подавился словами подполковник.— Тебе же еще сорока пяти нет! Если уйдешь, то по денежному минимуму! Других и после «полтинника» пинками на отдых не выгнать, до гробовой доски погонную ляжку тянуть готовы!

— Хозяин — барин, а я так не готов... Совсем! Надоели генеральские причуды. Сейчас вот пойду и рапорт на заслуженный отдых накропаю.

— Шутить вздумал? Шантажируешь? Думаешь, все тебе сразу в ножки кинутся? И думать забудь!

— Давайте чистый лист,— усмехнулся Глоткин.— Увидите, шучу или как.

— А работать за тебя кто будет? — почти возопил начальник.

— Скажите, товарищ подполковник, раз уже вы сами завели о том речь, как на ваш взгляд, я хорошо работаю? — поинтересовался Михаил.

— Ущербное какое-то любопытство... Скажем так: нормально. И что с того?

— Поскромничали. Я свой участок с первого дня прихода в УВД грудью закрываю. Вопрос: так вы меня вообще-то выдвигать хотя бы куда-то думаете?

— Об этом не может быть и речи! — едва не подпрыгнул в кресле Попенко. — Генерал давно сказал: ни при каких обстоятельствах тебя с этой должности не перемещать!

— То есть сколько бы и как бы великолепно я ни служил, в карьерном росте мне отказано навсегда? Тогда объясните: чем я отличаюсь от вас и от Тертеряна? Разумею, вам обоим на жизненном пути подобных палок в спицы не вставляли.

— Ну как ты не понимаешь очевидного? — сбавил обороты начальник ОВР. — Специалист ты редкий. А что, собственно, тебя не устраивает? Сиди и работай дальше на прежней должности. Генерал — он отходчивый. Сегодня поорал — завтра забыл. Вон меня и зама он минимум раз в неделю стабильно «увольняет». И ничего, как-то и дальше живем — хлеб жуем.

— Не хочу я «как-то». Да притом эти постоянные экзамены на грамотность меня уже достали. В общем, так: если генерала я на своей должности пока устраиваю, то пусть он хотя бы подполковника присвоит и перестанет по-пустому добавываться. Да — да, нет — нет. И если нет, скатертью мне тогда дорога на «дембель», народное хозяйство подымать.

— С ума сошел... — с сожалением произнес Попенко. — После подобного ультиматума он тебе точно выкинштейн из системы сделает. А ты обо мне подумал? — с обидой продолжил он. — Кого я на твое место так сразу найду?

— Это уже не мои проблемы, — глубоко вздохнув, парировал подчиненный. — И давайте заканчивать дискуссию: у меня куча бумаг на срочном исполнении...

Почти месяц подполковник тянул резину, убеждая Глоткина, что с его «больным» вопросом к Тертеряну следует подходить только в минуту самого его прекрасного настроения. А ее, мол, еще безошибочно уловить нужно. Но однажды рискнул-таки, задал вопрос о повышении старшего инспектора в звании.

Лучше бы не задавал...

— Генерал заявил, что ты до хренища умный, и потому, пока он в своем кресле сидит, ты хоть до ста лет доживи, все одно майором будешь ходить. И пусть он принял неправильное решение, пусть от того будет хуже общему делу, пусть небо на землю упадет — и еще много чего было сказано «пусть», — его это не плющит, по фене и до лампы. Концовка, дословно: «Я своих решений не меняю!» И через слово матом орал, — пояснил Попенко. — Ясно теперь, чего ты добился?

— Предельно ясно, — кивнул Михаил. — Ну и я своих решений не меняю!

И пошел писать рапорт на увольнение.



Сергей Лебедев
(г. Тольятти)



Лебедев Сергей Александрович, лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» имени Н. С. Лескова. Лауреат-победитель 4-го, 5-го и 6-го Международного поэтического конкурса «Звезда полей — 2013, 2014, 2015» и 1-го Международного поэтического Интернет-конкурса «Звезда полей — 2016» им. Н. Рубцова. Стипендиат Министерства культуры РФ. Член Самарской региональной организации РСПЛ, Тольяттинского отделения Самарской организации СПР.

ФОТОГРАФИИ ИЗ АМЕРИКИ

Наша последняя встреча была ровно десять лет назад. А в этом году, в последнее воскресенье мая, на очередной встрече выпускников химического факультета свели нас судьба и старания наших однокашников, которые каждые пять лет устраивают, ставшую традиционной, встречу. Пять лет назад я не смог приехать из-за проблем со здоровьем. А сейчас, глядя на Николая, я не мог и подумать, что этот седовласый, располневший дядька — мой институтский товарищ Колян. Но те же искорки в глазах выдавали в заматеревшем мужчине нашего заводилу всех групповых посиделок, турпоходов. Я уж не говорю о «пробелах» лекций, которые мы устраивали себе, совершая набег в столовую Жигулевского пивкомбината на Волжском проспекте, где почти всегда не переводилось бутылочное «Жигулевское», по тем временам дефицит, редкость и роскошь.

После окончания встречи Колян, а теперь правильнее будет сказать, Николай Андреевич, невзирая на мои слабые протесты и неуверенные отнекивания, затащил все-таки к себе в гости.

Конечно, как не окунуться снова в воспоминания о студенческих похождениях, да и вообще рассказать о себе, вспомнить, как говорится, «города и годы». Все прошедшее по старой доброй традиции запечатлено на фотографиях, которые мы в прошлом веке, да и в начале нынешнего, складывали в огромные альбомы, в маленькие альбомчики, а то и просто в коробки из-под обуви. Это сейчас все события, а порой просто так называемые селфи, сохраняются на планшетах, в смартфонах, в именных папках на компьютерах. Щелкай «мышкой» или гоняй пальцем — тысячи фото смешиваются в одну круговерть, а из них три четверти ненужных, некачественных, но хранимых, ведь места в доме не занимают, деньги на фотобумагу тратить не надо. Это раньше — развешиваешь пленку, каждый кадр негатива рассматриваешь, выбираешь — этот печатать, а этот можно оставить. А порой уже напечатанное фото разрывалось и выбрасывалось. Сейчас ничего почти не удаляется из гаджетов, а что, не мешает. Вдруг да и пригодится? В соцсети этот мусор выкинуть можно, вот, мол, я

какой, то в плавках, то в шортах. Или там на слона залез с обезьяной, а то и просто около какого-нибудь баобаба со своей, а порой и не со своей женой.

Николай Андреевич вытащил откуда-то с верхней полки книжного шкафа толстый альбом в зеленой, словно из малахита сделанной, обложке.

— Это моя поездка в Штаты,— торжественно произнес он,— в конце девяностых руководство предприятия, где я отработал более тридцати лет, решило приобщать своих работников к цивилизации развитого империализма. Работали мы относительно стабильно, зарплату нам ни разу в те годы не задерживали, прибыль была, вот и отмечали передовиков производства поездками за рубеж. Так и попал я в одну из групп, которую направили в США.

И полились воспоминания Николая Андреевича о поездке. Показывая фотографии, он рассказывал — где это он, с кем сфотографирован. Весь вечер прошел, можно так сказать, в повествовании американских историй. Все, что я запомнил из рассказов Николая Андреевича, то и повествовую от его лица без каких-либо комментариев, в общем, что слышал, то и вам рассказываю.

НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК...

На этой фотографии я около памятника первым американским эмигрантам. Рядом чернокожий друг. Не знаю даже, как правильно и сказать — негр, вроде в Америке так не принято, черный — тоже не приветствуется, все больше звучит — афроамериканец. Так у них этот запрет на слово «черный» дойдет до того, что «Черный квадрат» Малевича они будут называть «Афроамериканский квадрат».

Как этот афроамериканец попал на фото? А знаешь, как-то просто все вышло. Я попросил товарища запечатлеть меня на фоне знаменательного памятника, а в это время мимо проходили два чернокожих парня. Я запросто подошел к ним и как мог объяснил с помощью жестов, пальцев и нескольких слов по-английски, что приглашаю их сфотографироваться. Один из них без лишних разговоров пошел и встал рядом со мной около памятника. Теперь он навечно на этом снимке, почти как встреча на Эльбе русских и американцев, только на другом континенте — встреча в Нью-Йорке на острове Манхэттен.

Присмотрись к его одежде — простые джинсы, черная куртка из синтетики, вязаная шапка. Ничего не напоминает? Сейчас так одевается вся наша маргинальная молодежь.

Вообще хочу сказать, что тогда я вдруг понял, что простые американцы такие же, как и мы — обыкновенные люди. Без высокомерных замашек, легки в общении, спокойны. Еще не раз мне потом пришлось в этом убедиться. А чернокожему парню я пожал руку, поблагодарил, он, молча, улыбнулся и побежал догонять своего спутника.

Там же, на набережной южной оконечности острова Манхэттен, недалеко от Батареиного парка и музейного форта первых поселенцев, встретили мы... А, впрочем, все по порядку.

Сначала посмотри — как тебе эти длинные одноэтажные постройки под общей крышей первого форта на фоне виднеющихся за ней небоскребов? Рядом с нами стоит около пушки французский солдат с винтовкой, а вернее, это волонтер, изображающий защитника форта. Здесь нас только пятеро, а вообще, группа наша насчитывала двенадцать человек. Восемь мужчин и четырех женщин. Все мы находились, по документам, можно сказать, в командировке, хотя фактически на отдыхе. У нас не только дорога была оплачена предприятием, а еще и командировочные выданы, как положено, в долларах. А чем русские занимаются на отдыхе, а тем более за границей,

ты, наверно, знаешь. Осматриваем мы этот американский форт, там еще рядом памятник героям Кореи, вдалеке от Манхэттена на острове Свободы статуя, озаряющая мир факелом Свободы, которую почти не видно. Вот и предложил кто-то вслух (а скорее всего это сделал я):

— А что, ребята, когда мы еще побываем так близко от демократии, от этой статуи с фонарем, да рядом с фортом и памятником первым эмигрантам США, принесшим свободу на континент? А не отметить ли нам это событие прямо здесь? Так сказать, среди знаменитых атрибутов свободного мира?

Надо сказать, что время было утреннее, по-местному — часов около десяти. Людей на набережной Манхэттена, да и в Беттери-парке пока немного. Мы были, пожалуй, самой многочисленной группой. Так вот, после прозвучавшей фразы о культурном досуге, ты даже представить себе не можешь, что мы услышали в Нью-Йорке, в тысячах километров от России? На чистейшем русском языке кто-то сзади нас громко серьезным тоном говорит:

— Ребята, вы даже не думайте об этом. Здесь не положено по-русски отмечать события. Это нарушение закона и запросто можно оказаться в полиции.

Каково? В Нью-Йорке, на набережной Манхэттена, на фоне статуи Свободы — и русская речь? Оборачиваемся. Молодой мужчина, приятной наружности, стоит с тележкой — торговец пирожками. Мы группой окружили его, посыпались вопросы, разговорились. Оказалось, что он наш — бывший советский. Из Ташкента. Но уже житель Нью-Йорка.

— Я давно вас заметил, подкатил поближе, — говорит он, — что-то вспомнилось такое, отчего грустно мне стало. Очень веселая вы компания, общаетесь друг с другом по-дружески и запросто. А это то, чего мне очень не хватает в сегодняшней моей жизни. Нет, я не жалею, все хорошо — устроен, работа, пусть пока такая, но работа. Есть жилье, денег на жизнь хватает. Но не достает в нынешней моей жизни одного — общения! Не принято здесь ходить в гости друг к другу, встречаться вечерами. Все какое-то скучное, даже соотечественники наши, и те переняли этот американский образ жизни. Почти не встречаемся, каждый занят только своими делами, своими заботами. А у вас вон как весело!

В тот же день я еще раз убедился в простодушии и воспитанности американцев. Обедали мы в японском ресторане. Вот, смотри — на этих фотографиях — видишь, на столе бутылочки саке стоят, рядом плитка газовая, на тарелке тонкие ломтики сырого мяса, зелень, грибы, похожие на наши луговые опенки, называются шиитаке. Здесь такое обслуживание посетителей — пейте саке и варите сами себе суп Шабу-Шабу. Нам объяснили, как варить это Шабу-Шабу. Не гарантирую достоверности, забылось, а в московских ресторанах я не был. В общем, грибы шиитаке, овощи, все это кладешь в воду, когда закипит, буквально на пятнадцать секунд опускаешь в кипяток, держа палочками, ломтик мяса, и сразу же — в рот. Вареные овощи и грибы вылавливаешь — закуска готова. Угощение по-японски.

Так вот, начал я об американцах. После выпитого саке и приготовления японской стряпни, стало мне жарко. Вышел я на улицу освежиться, подышать прохладным воздухом Нью-Йорка, так сказать. Да, не сказал, что были мы в Штатах во второй половине марта. В Нью-Йорке весна начинается, праздник Святого Патрика, температура около нуля градусов.

Около входа в ресторан группа парней и девушек, человек десять. Стоят полукругом, пьют что-то из стеклянных бутылок. Разговаривают, смеются. Я вышел и немного отступил от входа в сторону, не заметил и сбил ногой стоящую на асфальте открытую бутылку, она упала, потекло на асфальт. Поднял, поставил. Это оказалось пиво. Извинился. По-английски, конечно, уж это-то из школьной программы еще

помню. И ты знаешь, чем американская молодежь ответила на мою неловкость? Ребята рассмеялись, замахали руками, мол, не беспокойтесь, ерунда. И продолжили веселый разговор между собой. Представляешь, если бы это случилось на улице нашего родного города, чтобы я услышал от своих юных соотечественников в подобной ситуации за пролитые пятьдесят граммов пива?

КУПАНИЕ В СЕНТ-ПИТЕРСБЕРГЕ

Узнаешь? Это берег Мексиканского залива. Было теплое, морское и безмятежное утро. Легкий прибой. Мы купались. А ведь еще вчера в Нью-Йорке гуляли в плащах и куртках, а на улицах города бурлило костюмированное шествие, был День Святого Патрика. Оркестры, флаги Ирландии и США, повсюду зеленый цвет. А здесь голубое небо, голубое море, белый песок пляжа. И обрати внимание — прибрежные воды залива пустынно. Никто не купается, кроме нас. А почему? Да потому что температура воды в заливе всего плюс двадцать градусов. Не принято купаться в такой «холодной» воде. Народ прогуливается по белому песчаному урезу, лишь ноги мочит в воде. Люди ждут погоды у моря, то есть когда вода прогреется до плюс двадцати пяти градусов. Слышна польская, немецкая речь.

Надо сказать, что приехали мы из аэропорта Орlando в город Сент-Питерсберг ночью, около одиннадцати часов. Пока добрались до гостиницы — уже полночь. В холодильниках гостиничных номеров кое-какая еда — сок фруктовый, вода минеральная, апельсины, бананы, клубника. В общем, то, что надо для русской души... Но у нас, как говорится, с собой было. Решили первым делом сходить на берег Мексиканского залива, искупаться, после этого и организовать поздний ужин.

Вышли во двор гостиницы — тишина, почти во всех окнах потушен свет. Невдалеке ласково шуршало море. Вода приятной прохладой сняла усталость перелета, песок мягко скрипел под ногами. Красота...

Я после купания в море пошел в номер гостиницы, принял душ. А все мужчины нашей группы остались около бассейна во дворе гостиницы. Легкий ветер качал листья пальм, мириады звезд наблюдали за нами, но как оказалось позднее, не только звезды...

Номер в гостинице был на двоих. И я после душа, расслабившись в кресле, ждал, когда придет мой товарищ и скажет о том, что «народ для разврата собрался».

Вот он приходит. Но странным кажется мне его поведение. Я обращаю внимание на то, что он как будто немного не в себе: грустный взгляд, я бы сказал, что даже немного потухший. Молчалив, глубоко вздыхает, отводит от моего взгляда глаза в сторону.

Вдруг в дверь номера раздается громкий, требовательный стук. Открываю. На пороге стоит мужчина в форме с какими-то нашивками, в форменной фуражке. Пока я рассматривал его форму, пытаюсь понять, кто он такой, этот человек начинает что-то быстро говорить по-английски. Из всего сказанного мне удалось понять только вопрос «Your is chief?» и несколько раз повторенные слова «Police» и «Bathe».

«Вот это новости», — думаю. — «Что же такого криминального произошло?»

Тут вмешивается мой товарищ:

— Это охранник гостиницы.

— Так, что-то прояснилось, уже полегче, — говорю я, — но чем же он так взволнован? Что нельзя было купаться в бассейне?

— Да мы, понимаешь, купались в бассейне, а он прибежал, кричит, выгнал нас из воды, и твердит: полиция, полиция.

— Так что, нельзя было в бассейне купаться? — повторяю я.

— Не знаю, только мы без ничего купались. Ночь ведь, все спят, вот мы и решили так. Веселились нагишом.

— Повеселились. А где остальные?

— Да там, все в одном номере собрались.

Я напрягся и спросил охранника:

— No bathing suit? (Не было купальника?)

Он обрадованно закивал головой, наконец-то, этот русский понял:

— Yes! Yes!

— Follow,— бросил я, и мы пошли.

Номер был открыт, все наши пловцы в нем, такие же тихие и понурые, каким предстал передо мною мой товарищ. И тут меня как прорвало! Все-таки я — старший группы, значит, и отвечать мне! Я набрал побольше воздуха в легкие, и со всей яростью, на повышенной вибрации голоса начинаю отчитывать своих «подопечных». Говорю, стараясь быть серьезным. Без прибауток и шуток объясняю им про тысячи километров, отделяющих нас от Родины, про страну, в которой мы находимся, и про ее культуру и порядки. Все это, конечно, без наших родных, русских ругательств. За границей, как-никак. Охранник стоит недалеко от нас и наблюдает за моей партийно-воспитательной работой. Думаю, со стороны сцена напоминала избиение младенцев царем Иродом. Бескровное избиение, конечно. И вдруг он подходит ко мне и трогает за плечо. Я оборачиваюсь и вижу его удовлетворенное, спокойное и понимающее лицо.

— All right! This all! — только-то и произнес он.

Я протянул ему руку, он пожал ее, повернулся и ушел по коридору.

Американец остался доволен моими действиями по усмирению разгулявшихся русских парней. И, наверно, решил, что теперь всегда будет порядок. Ведь Америка — страна порядка! И он, не зная русского языка, лишь по моему выражению лица, по тону разговора, понял — шеф отчитывает, а значит наводит порядок. И ушел довольный и успокоенный.

Ну а мы? Конечно же, сели за поздний ужин, и со смехом вспоминали и купание в бассейне, и последовавшее за этим волнение и страх за случившееся, и строгого начальника, и славного охранника, который увидел, что и русские любят порядок.

РЫБАЛКА В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ

Виды города Сент-Питерсберга я фотографировал с палубы морского катера, который уходил в открытое море, мы отправлялись на рыбалку в воды Мексиканского залива. Курортный город в пальмовых зарослях с чистейшими песчаными пляжами, с роскошными гостиницами исчез в морской дымке.

На катере разместились три туристических группы. Наша, российская, группа из Германии и местная — отдыхающие в городке американцы. Любители морской рыбалки. Надо сказать, что немцев мы вообще не слышали и не видели на палубе. Они все плавание как-то тихо себя вели, по-моему, сидели всю рыбалку в своей трюмной каюте и пили пиво.

А вот на этой фотографии я с американским туристом-рыбаком. Стоим чуть ли не обнявшись, он положил мне руку на плечо. Видишь, какой красавец? Высокий, ростом, наверно, метр восемьдесят или даже больше. По крайней мере, выше меня. Пышные усы, глаза добрые и веселые. По внешности и не отличишь от москвича или от красноярца, то есть любого из нас. Майклом его зовут. А познакомились мы с ним так. Но постой, пожалуй, начну по порядку. Тебе же, как волжскому рыбаку, будет интересно узнать, какую рыбу и как мы ловили в Мексиканском заливе?

От городского пирса наш катер отошел не так уж и рано, где-то около восьми часов утра. И с довольно приличной скоростью, думаю, не меньше 20 узлов, мы через два с половиной часа оказались на месте рыбалки, в открытом море. У каждой группы был свой инструктор. Он показал нам наше место на левом борту судна, где в специальных гнездах стояли приготовленные рыболовные снасти: спиннинги с инерционными катушками. Рядом с ними ведро, наполненное насадкой, которая была похожа на мелко порезанную рыбу. Инструктор строго-настрого предупредил, чтобы пойманную рыбу с крючков снимали после того, как покажут ему. А уж он решал, что с ней делать: то ли оставить, как улов, то ли отпустить обратно в море. Общались мы с ним через переводчика-гида, Татьяну, которая сопровождала нас во всей поездке по Америке.

Нацепив насадку на крючки, поплевав на нее по русской традиции, мы стали забрасывать наживку в море, опуская до самого дна. Глубина выбранного капитаном места для рыбной ловли была метров сорок - пятьдесят.

А это я уже сфотографирован с первой добычей. Название пойманной рыбы я не запомнил. Похожа она на нашего волжского судака. Такая же полосатая темно-серая раскраска туловища, белое брюхо, удлинненное тело, длинное и заостренное рыло. Но, как оказалось, пойманная мною рыбка еще не доросла до необходимых размеров, поэтому была отпущена инструктором обратно в море.

На следующей фотографии — морской черт. Огромная, широкая, я бы даже сказал, страшная голова, тело ее совсем голое, спина коричневая, усеянная многочисленными черными крапинками. Размер рыбы сравнительно небольшой — сантиметров тридцать. Рыба, действительно, похожа на черта. Инструктор снимал этого черта с крючка специальным приспособлением, руками не касался. Только вот, что странно. Через несколько лет в одной кулинарной книге я прочитал, что морской черт — рыба съедобная. Блюда из этой рыбы готовят из ее хвоста. А бывает она весом до двадцати килограммов. Выходит, пойманный мной морской черт оказалась маленьким для добычи.

Но вот третья пойманная рыба оказалась вполне нужного размера и съедобной. Дорада, или морской лещ. Рыба действительно походит на нашего леща, но только туловище у нее более серебристого отлива, а голова с большой пастью. Вес ее был около полкилограмма. Вот так, поймав, наконец, настоящую рыбу, я успокоил свое рыбацкое нетерпение и страсть, и, передав кому-то свою удочку, пошел бродить по судну, рассматривая улов своих товарищей. На этой экскурсии я и столкнулся с Майклом. Видно, ему тоже наскучило однообразие рыбной ловли, и он решил прогуляться по палубе корабля.

Сначала мы с ним обменялись приветствиями, рукопожатием. Потом выяснили имена друг друга. Разговорились. Каково? При почти полном незнании языка? Конечно, говорил больше он, но я тоже вставлял фразы, щеголяя своим примитивным знанием английского языка. Чего стоила, например, такая фраза:

— I am Russian fisherman. You is American fisherman.

Это Майкл понял. Широко улыбнулся и ответил:

— Baked fish is very tasty food.

Я понял, что он чего-то сказал про жареную рыбу. Потом Майкл сделал жест рукой, показывая, что сейчас вернется, произнес только одно слово:

— Wait, — и ушел в сторону кормы. Я и остался ждать, как он велел.

Через несколько минут Майкл вернулся, держа в правой руке литровую пластиковую бутылку водки, уже наполовину опустошенную, а в левой у него были такие же пластиковые стаканчики. И всего одно слово сказал, которое и переводить не надо:

— Drink.

Я, конечно, согласился:

— O, yes, drink for friendship!

— We cold drink vodka,— был его ответ.

И вот Майкл подает мне стакан, я держу, он наливает. В мой стакан и себе он налил водки, как у нас говорят, «на донышко». Я не стал напрягаться со своим английским, и все, что я сказал, было произнесено мной по-русски, но, как ни странно, он меня понял и согласно закивал головой. А сказал я ему буквально следующее:

— Э, Майкл, у нас за дружбу так не пьют. Давай это сделаем по-русски,— потом жестом показал ему, как должны быть наполнены стаканы.

В глазах его после моих слов и жестов появилось удивление, и, я бы сказал, даже некоторый испуг. Но я взял из его рук бутылку, и долил в стаканчики граммов до пятидесяти. Мы чокнулись, выпили. До дна. А из закуски — одни чипсы. Рыбу жарить мы будем на берегу, как нам объяснили. В общем, до конца нашего морского путешествия Майкл уже никуда не ушел из нашей каюты. О чем мы с ним разговаривали? Сейчас я уже и не смогу рассказать, но только помню, что он говорил со мной по-английски, а я, не напрягаясь, перешел на русский. Опять у меня какая-то «встреча на Эльбе» получилась.

Майкл стал проявлять симпатии к одной из наших женщин, и до самого возвращения на городской пирс он пытался общаться с ней, что-то лопоча и глядя влюбленными глазами.

Даже и тогда, когда наш катер причалил, и все стали сходить на берег, он, не раздумывая, пошел с нашей группой в гостиницу, пытался обнимать свою пассию, которой не нравились его американские нежности, и она слезно нас просила:

— Да уберите вы от меня своего американца!

Но Майкл лишь мило улыбался и что-то говорил и говорил. Все закончилось тем, что, наконец-то, о нем вспомнили его друзья. Как оказалось, и жена его была в той же группе на катере, она прибежала и увела его, недовольного, с собой.

На морском пирсе были оборудованы специальные столы для чистки рыбы, здесь же стояли специальные подставки с ножами. Мы почистили всю рыбу своего улова. Вокруг нас бегали маленькие цапли, в воде плавали пеликаны. Такая вот кормушка для птиц. Да вот, на фото всех пернатых видно и нас, чистящих рыбу.

НОЧНОЙ ЗВОНОК В ВАШИНГТОНЕ

Думаю, на снимках, сделанных в Вашингтоне, все узнаваемо, и они особо в комментариях не нуждаются. Сами за себя говорят — Белый дом, здание конгресса США, здание Верховного суда США, пятиугольное здание — Пентагон, мемориал Джефферсона на берегу реки Потомак. Были мы и в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики. А на этом снимке я рядом с первым президентом США Джорджем Вашингтоном и его супругой — это уже исторический музей — National Museum American History. Кстати, исторический музей США посещает очень много молодежи, во всех залах большие группы школьников, студентов, такого интереса у нашего юного поколения я не замечал.

Здесь мы на улице Вашингтона около гостиницы, всей группой. Вашингтон запомнился нам своими знаменитыми и историческими местами, но не только этим. А и веселой историей, случившейся ночью в гостинице. В Вашингтон мы прилетели уже под вечер и, уставшие от перелета, от напряжения и дорожных хлопот, мечтали об одном — скорее заселиться в гостиничные номера и отдохнуть. Привезли нас в довольно старый район, построенный более ста лет тому назад. Дома, в основном, двух- и трехэтажные.

В гостинице предложили семейные номера, даже не помню сейчас, почему это получилось. Наверно, из-за их дешевизны. Но, по большому счету, нам было все равно. Человек ко всему привыкает, а советский человек тем более. А то, что мы все еще оставались советскими, не надо даже и объяснять. Так вот, семейный номер — это широкая двуспальная кровать, прикроватные столики с лампами, телефон, небольшая кухня со всем необходимым инвентарем, в общем, маленькая квартира для супругов. На фото мы с товарищем как раз на такой кровати, позируем, чтобы понятнее было, где мы ночевали в Штатах.

Так вот, чтобы не лишать нас удобств и полноценного отдыха, служащие гостиницы, в основном, афроамериканцы, разносили по номерам раскладные кровати. Поэтому на ночь одному из нас доставался двуспальный аэродром, ну а второй довольствовался раскладным вариантом ночлега.

Не успели мы с товарищем осмотреть номер, поудивляться обилию кухонного инвентаря, как в дверь раздался громкий стук. Открываем, на пороге служащий с кроватью в руках. Мы его пропустили в номер, он быстро разложил и установил ее, постелил матрац и ушел. А мы решили пройтись и посмотреть, как устроились остальные.

Заходим в один из номеров, у них второй кровати еще нет. Я спрашиваю:

— Вам еще не приносили раскладную кровать?

— Да приходил какой-то детина чернокожий, принес, но мы подумали, что он что-то перепутал, махнули, мол, мы не заказывали, он ухмыльнулся и ушел.

— И как теперь? На одной кровати спать будете? Валетом, что ли? У них такой порядок, спать каждый должен отдельно, в своей кровати. Вот он и ухмыльнулся. Знаете, что он о вас подумал?

— А я еще удивился, когда мы отказывались, он как будто понимающе улыбнулся. Наверно, мы в его глазах поголубели.

В общем, устроились. Потом собрались всей группой в одном номере. Поужинали и разошлись. И, можно сказать, отрубались, устав от суеты и перелета.

Волей жребия мне досталась двуспальная кровать. Я сразу же уснул. В ночной тишине раздался резкий телефонный звонок. Спросонья не пойму, что это такое? На часах — первый час ночи. Поднимаю трубку и милый женский голос, я бы даже сказал — ангельский голос, что-то мелодично говорит. На английском. Не могу понять, но успеваю вспомнить дежурную фразу и отвечаю:

— I no understand you. Я не понимаю.

Говорившая на том конце женщина переходит на другой непонятный набор слов, но различаю, что это уже не английский. И вот оно — последнее слово в этой фразе произнесено по-русски, отчетливо было сказано слово «любовь». Так вот в чем дело! Теперь и дураку стало бы понятно! И я мгновенно, не думая, ответил:

— No, thank you!

В ответ тишина, и я положил трубку.

Товарищ услышал весь мой разговор и полусонно спрашивает:

— Кто звонил?

— Ты не поверишь, — отвечаю, — предлагали американскую любовь.

— Ну, а ты? — спрашивает.

— Отказался, конечно. Сказал, что мы честные русские люди и не подвержены буржуазным привычкам по ночам заниматься любовью.

Товарища моего, как ветром, сдуло с кровати:

— Эх ты! — укоризненно бросил он в мою сторону, — я бы не отказал. А кто звонил?

— Как ты думаешь, кто? Конечно, знойная, с большими губами негритянка. Ну, ты подожди, может она еще раз позвонит, — пошутил я.

Он вполне серьезно принял мою шутку и сел на кровать около телефона. Видя такое дело, говорю ему:

— Послушай, дважды в одну воронку снаряд не попадает. Ты лучше сходи к нашим в любой номер, наверняка они всех русских будут обзванивать. Вот и договоришься.

Смотрю, он встал, оделся и ушел. А у меня тоже весь сон прошел. Не произошла бы там еще какая история, подобная купанию нагишом в бассейне. Так и не уснул до тех пор, пока он не вернулся. Примерно через полчаса появился. Грустный. На мой немой вопрос только отрицательно помотал головой.

А утром мы посмеялись над нашим неудавшимся ночным приключением.

И знаешь, общаясь с американцами на улицах, в магазинах, в музеях, я понял одно: мы и американцы, я имею в виду простых людей, очень похожи. А наши отношения между странами, как в добром старом анекдоте: в лесу ветер шумит по верхушкам сосен — это отношения между политиками, а внизу под деревьями в муравейниках и по траве — тишина. Все заняты делом — работают, кормят детей, строят жилье и радуются каждому мгновению жизни.



Яков Шафран
(г. Тула)



ДОБРОВОЛЬЦЫ*

Член Академии российской литературы, Союза писателей и переводчиков при МГО СПР. Лауреат всероссийских литературных премий: «Левша» им. Н. С. Лескова и «Белуха» им. Г. Д. Гребениčkова, лауреат премии русских писателей Белоруссии им. Вениамина Блаженного. Заместитель главного редактора — ответственный секретарь всероссийского ордена Г. Р. Державина литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори», главный редактор альманаха «Ковчег» журнала «Приокские зори».

...Недели две было затишье, вернее, вялотекущие действия — перестрелки, попытки вылазок... В это время Артем часто думал: если его убьют, то мать этого не переживет, ведь он у нее один. Кроме того, с ним вместе канут в небытие все его чаяния и задумки, и, главное, он не сможет выполнить то, ради чего приехал сюда. Мучило еще, что здесь, на войне, Артем уже хорошо это понял: лишить кого-то жизни так же легко, как раздавить козявку. Потому стали приходиться не прошенные мысли о том, что, убив другого, он уничтожит и чей-то чужой клубок желаний, забот и, может быть, хороших качеств, к тому же, возможно, и чьего-то близкого друга. Эта мысль снова вызвала в сознании образ Сергея. Он сердился на себя из-за этих мыслей и предчувствий, но избавиться от них не мог. Потому Артем очень не любил находиться в карауле, куда они заступали по одному на два часа, так как было много времени для раздумий. Вот и сейчас, когда сменившийся боец скрылся, он почувствовал гнетущее одиночество. Глаза после ярко освещенного помещения не сразу привыкли к темноте. Вокруг бледный свет молодого месяца лишь обозначал контуры построек и деревьев. Вначале из их здания, находившегося на расстоянии примерно двухсот метров, еще слышались громкие разговоры, смех и редкие ругательства, но через некоторое время — все же начало первого — наступила тишина — значит, уснули. Артем залез в специально вырытый окопчик и стал вглядываться в окружающее. Вокруг все было спокойно, но чем дальше он находился в тишине, тем все более обострялся его слух. Вот он уже уловил какой-то звук. Артем вспомнил слова своего старослужащего сержанта в армии, когда он «лопоухим» новобранцем прибыл в часть и то и дело с любопытством разглядывал все кругом: «Закрой варежку! — учил тот. — Батя мой, афганец, говорил, мол, можешь не успеть даже подумать о чем-то, но перед тем, как отдать концы, обязательно пожалеешь, что не был бдительным. Сейчас хоть и мирное время, но в армии мы, чтобы готовиться к худшему...» И Артема охватил страх. Ему почудилось, что откуда-то сверху на спину неожиданно легла чья-то рука, которая затем поползла к голове и далее — по волосам до лба... Он стал напряженно

* Окончание; начало в № 2, 2018 «ПЗ».

оглядываться вокруг себя в ночи, стараясь определить, откуда доносится звук. Шла минута за минутой, прошел час, но ничего не случилось. Артем начал успокаиваться, прислонился к стенке окопчика и немного расслабил мышцы ног. И, как обычно бывает после напряжения, его стал одолевать сон. Но он крепился, и не дал себя ему укутать. Так постепенно шло его привыкание к военной обстановке.

В эти дни Артем познакомился с девушкой-ополченкой из соседнего взвода, Ольгой. Светловолосая и черноглазая, она сразу запала ему в сердце, может быть и потому, что была очень похожа на его мать в молодости, какой та была на единственной в их семье ее цветной фотографии. Еще ему понравилось, хотя вначале и несколько удивило, ее отношение к войне. «Народ на Украине хороший, добрый, братский,— я была несколько раз в Полтавской области, даже уже после начала войны, у нас там родные живут,— но их политики как с ума посходили все. Что делается, а!? Людей жалко. А наши бабушки, старики и дети так привыкли к бомбежкам, что уже в подвал идут, как за продуктами, лишь в глазах — тоска и боль...»,— с горечью рассказывала она, когда они неспешно, пока позволяла обстановка, беседовали.

А вскоре началось то, ради чего Артем и приехал сюда — боевые действия. На участке отряда возобновились ожесточенные бои за аэропорт. Отряд разделили на две части — у каждой было свое задание,— и они с Ольгой попали в разные. Он не знал, что чувствовала Оля, но у него было ощущение, что она находится все время рядом.

Для Артема все теперь было непривычно — служба в армии казалась детским садом по сравнению с теперешним. Снаряды, мины и гранаты летели туда и обратно. Снаряд, как ему объяснили, летит в три раза быстрее звука, его полет не успеешь услышать, слышишь только взрыв. Мина же падает, как бомба, и, если слышен визг, летит она не в тебя, просто падай и накрывай голову руками, а если свистит, то убегай подальше, а там уж... И здесь очень нужен навык, которому не научишься нигде, кроме как в бою: после первой же мины можно определить по звуку, куда летит следующая, опасно ли оставаться на месте или лучше отскочить. Артем стал прислушиваться к каждому свисту мины и затем раздающемуся взрыву. И, действительно, оказалось, звук летящей мины зависит от направления полета. Он, кажется, на всю жизнь запомнил первый обстрел. Это было ночью. Мины летели точно на расположение отряда. Слышны были хлопки выстрелов, затем — неприятный тонкий визг, переходящий, постепенно нарастая, в вой и, становясь все грубее, заканчивающийся взрывом. Казалось, будто сама ночь разрывается на осколки, а земля охвачена какими-то гигантскими судорогами.

— А-а, чтоб им ни дна, ни покрывки этим чертовым нацикам! — разразился кто-то бранью.

Артема предупредили, что прилетают не только мины, но и много других боеприпасов. «Это плохо, так как нужно было учиться различать, а времени на это нет... Вот, например, звук «града» в полете похож на шорох, и его слышно издалека».

На следующий день наряду с хлопками минометов и гранатометов, стали бухать орудия. Земля заходила ходуном, и все вибрировало от взрывных волн. А вот протяжный очень низкий звук и сильные вибрации наполнили собой все пространство, отзываясь в каждой клеточке тела, будто кто-то невидимый накрыл землю гигантским колоколом и ударял в него, и что-то настолько сотрясло землю, что, казалось, взорвался весь мир. За прежним раздался новый нарастающий вой, услышав который, все, словно по беззвучной команде, легли. Артем тоже бросился на снег, зарываясь в него лицом, абсолютно не чувствуя холода. Взрыв раздался в ста метрах от них. Но люди не вставали, прислушиваясь к снова раздающемуся вою... Он припод-

нялся, открыл глаза и сильно сжал кулаки, почувствовав сильную боль в пальцах. «Господи, помилуй!» — пробормотал он, чего за собой раньше не замечал, ибо не был верующим. Со лба, хотя был морозец, ручейками стекал пот, а во рту было сухо и неприятный вкус. Он пошевелился, чтобы катящаяся по спине струйка пота не щекотала нервы. Было сильное напряжение и непонятно откуда появившееся — ведь раньше он не воевал — довольно странное, но приятное предвкушение боя...

«Как там Оля? — подумал Артем и представил ее лицо, глаза, чуть подернутые улыбкой губы.— Как она все это воспринимает? Женщина все же, хоть и два года уже в ополчении...»

Вот опять «запели». Конечно, опасаться следует только взрыва, однако сам звук летящей мины, ракеты, когда в течение нескольких секунд, затаив дыхание, слушаешь их «песню», сильно действуя на нервы, изматывает тебя... Но вот, наконец, наступает тишина, совсем не слышно птиц — вся живность давно исчезла с этой «территории»... Где-то далеко-далеко слышится артиллерийская стрельба, похожая на глухие раскаты грома. А вот в расположении их отряда застрочили автоматы, значит, настало время близкого боя, и тяжелого обстрела не будет.

Вдруг небо заволочло тучами, хотя до сих пор была легкая пасмурная дымка, и поднялся сильный, шквальный ветер, порывы которого буквально валили людей с ног. Деревья, которым и без того досталось от обстрелов, сильно прогибались, казалось, вот-вот переломятся. Артем не любил бури и грозы, так как однажды в детстве они с ребятами оказались в поле по пути из деревни домой, когда разразилась сильная гроза — молнии били в землю, казалось, рядом с ними — с ураганным ветром. Они сильно испугались, потому что никогда ничего подобного не видели. Этот детский испуг оставил след на всю жизнь... Вот и сейчас ветер дул очень сильно,— будто некий великан, сердясь на беспокойство, которое люди причинили ему своей стрельбой, пытался сдуть их с лица земли,— и им приходилось пригибаться книзу. Тем не менее, на небольшом участке неба, не закрытом тучами, Артем заметил почти совсем над горизонтом ярко-красное закатное солнце, и даже мгновение полюбовался им. Но сейчас было не до того. Под автоматным обстрелом они с напарником перебежками стали продвигаться от укрытия к укрытию, которые находили на местности. Однако против ветра это делать было очень тяжело, к тому же, чтобы что-то сказать, приходилось сильно кричать, будто между ними было не менее километра.

Вскоре, как-то сразу, замолчали автоматы и начали снова говорить наши пушки и минометы. Ополченцы передохнули и после хорошей артподготовки снова вышли из укрытия и под непрекращающимся ветром и полившим сильным дождем, стреляя и не обращая внимания на промокшую до нитки одежду, пошли вперед уже в полный рост. Подойдя к старому терминалу, они стали прицельно вести огонь по окнам, когда видели там лицо или силуэт. У Артема кончились патроны, и он под прикрытием огня напарника отбежал за полуразрушенную кирпичную кладку перезарядиться. После они продолжили огонь вдвоем.

Ветер и дождь также внезапно прекратились, как и начались. Подошли свои с ручными гранатометами и начали бить по окнам, так как противники спрятались от автоматных очередей и боялись высунуться. Гранатометы сделали свое дело, и ВСУшники стали выскакивать из здания и ввязываться в открытый бой. Ополченцы стреляли с колена или в полный рост, прикрываясь только своим огнем, а когда кончались патроны или гранаты, отбегали к ящикам с боезарядом. Вот подошел ополченец с гранатометом и из-за спин автоматчиков спокойно запустил гранату из ствола точно в окно, откуда еще велась стрельба. «Есть!» — радостно показал он известным движением кулака и предплечья. Парня по соседству ранило в плечо, он тут же, прихватив автомат, отбежал за укрытие, перетянул руку жгутом выше места ранения и

продолжил стрельбу. Артем и его напарник заняли позицию у угла бывшего небольшого здания и по очереди — один шел на перезарядку, другой палил — стреляли по засевшим «укропам». «Лови кошмар!» — еще раз выстрелив, сказал гранатометчик. Несколько гранат и зажигательный патрон удачно попали в цель и огонь оттуда временно прекратился, что позволило ополченцам вперебежку переместиться ближе, прячась за мертвую технику. Некоторые проникли в здание терминала и вели огонь там. Появился танк и стал на исходную позицию. Скорее для устрашения, ибо Артем с товарищами были уже в здании. Оттуда гулко раздавались хлопки выстрелов и очереди. Однако «выкурить» основные силы из здания не удалось, и бойцы вышли. Тогда прикатили пушку, и из нее, и из танка стали стрелять по терминалу. Артем видел, как тяжелый снаряд загонялся заряжающим в пушку, как ребята, затыкая уши, разбежались от нее, как один из них дергал за длинный шнур, слышал его крик: «Во имя народа! За русских! За свободу!», после чего следовал оглушительный залп, и в обстреливаемом здании терминала — вспышка, дым и брешь в стене. А что было там внутри — может быть трупы, разорванные в клочья тела, кровь людей — он не видел, и не хотелось думать, что там. Перед его глазами стояло лицо друга, Сергея, которого, может быть, вот так же разорвало, и фотографии, а теперь уж и не только они, бесчинств, пыток, казней и массовых захоронений замученных и расстрелянных людей. Но все равно было гадко на душе...

В подмогу пушке появился расчет с минометом. Один из ополченцев изучает здание старого терминала через бинокль, затем корректирует наведение на цель, и звучит возглас: «Подавай снаряд!» — который, естественно, находится на отдалении от миномета. И вот серебристо-зелено-белый снаряд входит в казенник, он закрывается. «Колпачок с взрывателя снял?» — кричит командир. «Снял! Готовы?» — «Да!» — раздается несколько голосов расчета. «Залп!» — и снаряд уходит к цели. Заряжающий железякой открывает горячий казенник и очищает его. Далее все повторяется, пока у цели не останется «признаков жизни».

Но «укры» снова появляются в окнах и продолжают обстрел ополченцев. «Сколько же их там?» — спрашивает себя Артем. Командование меняет тактику боя: приходят два танка, члены отряда надевают каски, вешают на пояс боеприпасы и с автоматами в руках садятся на броню. Отряд направляется к терминалу.

И тут Артему показалось, что он видит Ольгу — вдалеке вроде бы показалась ее фигура. Он хотел было соскочить с танка и броситься к ней обнять, поцеловать в сухие, потрескавшиеся на ветру губы, сказать пару слов и услышать в ответ ее голос — так душа истосковалась. Но сосед крепко ухватил его за руку: «Ты что, парень?!» И Артем затих, с тоской глядя вдаль, где скрылась девичья фигура...

На подъезде к терминалу слышится команда: «По секторам смотрим! Круговая оборона!» После рекогносцировки на местности начинается стрельба из орудий танков, из пушек, а ополченцы стараются обойти старый терминал по периметру и подавлять огонь «укров» из автоматов, целясь, одиночными выстрелами, сберегая патроны. Артем ведет прицельный огонь из-за укрытия. Слышится уханье орудий, глухие звуки взрывов, звон еще до того уцелевших стекол и падающих на бетон гильз, хлопки выстрелов автоматов...

Вот застрочил пулемет — это его друг, Дмитрий, прилачился тут неподалеку. Но вдруг он падает, хватаясь за плечо. «Что-то снайперское в плечо сработало, — крикнул он. — Мясца оттяпали чуть ли не с кулак. И прямо в прежде раненное плечо!..»

Новенький, из пополнения, которое получил их батальон, увидев кровь, побледнел. И Артем решил, что тот боится, так как при звуке летящих снарядов и взрывах, хотя они были теперь далеко, он нервно вздрагивал, то и дело почесывался и не мог стоять спокойно, а вертелся, будто заведенный. «Пришел, видимо, чис-

то на эмоциях, не готовый к такому... Интересно, можно ли будет положиться на него?» — подумал он...

Но когда неожиданно, почти над самой головой, послышался истошный визг, так похожий на звук сильно тормозящей машины, когда резко нажимают на тормоз, во рту у Артема самого пересохло и сердце начало часто биться. Он инстинктивно сжался в комок, и если бы мог, то втерся бы в грунт. Вдруг Артем услышал страшный взрыв, было такое ощущение, что взорвался сам его мозг. Земля содрогнулась и заходила ходуном. Он почувствовал, что над ним пролетели осколки и куски земли, а затем ударила взрывная волна. Перед Артемом явственно возникли лица матери и друзей и мгновенно, как в ускоренной прокрутке киноленты, пролетели в сознании эпизоды его недолгой жизни, причем в обратном порядке — с настоящего к раннему детству. Еще и еще были взрывы, и будто каждый раз кто-то подбрасывал его в воздух. Рядом раздался крик: «Не надо, не надо!» По голосу он узнал того новобранца. Обстрел так же неожиданно прекратился, как и начался, мины больше не взрывались, но Артем еще некоторое время лежал. Неподалеку кто-то упал лицом вниз. Раздался взрыв одинокой, видимо, запоздавшей за своими «подругами» мины. Наверное, тот, упавший, услышал ее полет раньше, чем осколок разворотил ему туловище. Когда все прекратилось окончательно, он подполз к погибшему. При виде растерзанного новобранца, а это был он, у Артема закружилась голова, и тошнота наполнила его. Весь день перед ним стояла эта картина, часто он ловил себя на мысли об этом пареньке, погибшем в первый же день боя, и он чувствовал душевное оцепенение.

Артем прекрасно осознавал, что может погибнуть, со смертью он уже свыкся и не размышлял о том, что может случиться в следующую минуту. Но интуитивно тревога не оставляла его. Пока на его глазах не убили этого паренька, он понимал смерть как просто отъезд или уход человека куда-то. Теперь же, когда Артем сам *видел* убитого, разорванное тело его, он стал ощущать тайный страх, и тем сильнее, когда в ушах звучал голос новобранца, его слова...

«Оля, Оля, где ты, как ты? — мысленно обратился к ней Артем.— Здесь и мужик-то тяжело...». Перед ним предстало ее лицо, черные глаза искрились улыбкой, но взгляд их был тверд.

Это придало ему уверенности, ибо к тому времени многих ребят, с которыми успел сдружиться, потерял Артем в боях за терминал, как и не было их.

Притупилась от этого боль от гибели Сергея, однако не забылась...

...И вот 30 ноября бойцы водрузили флаг ДНР над старым терминалом. Однако это был еще не конец. После месячного затишья, после двухдневных украинских обстрелов Донецка, силы ополченцев начали бои за новый терминал. Взвод Артема участвовал в уничтожении диспетчерской вышки. И бои шли до момента, когда украинские военные получили приказ об оставлении поселка Пески, из которого они прикрывали объект. Так 19 января Донецкий аэропорт был полностью освобожден.

А уже через три недели их батальон, занимая позиции в Угледорске, участвовал в дебальцевской операции. И вновь небо и земля сотрясались от залпов танковых пушек, тяжелой артиллерии и ракет. Но Артем уже гораздо спокойнее воспринимал их, тогда-то он понял, что это и есть «быть обстрелянным». Командование поставило перед ополченцами цель — во что бы то ни стало окружить плацдарм украинских военных, проще говоря, создать еще один «котел».

До того разделенный их батальон соединился, и он, наконец, встретился с Ольгой. Казалось, прошел, по меньшей мере, год с их последней и единственной близкой, отнюдь не короткой, встречи, хотя они не виделись всего полтора месяца. Они обнялись. Объятие вышло нежным и бережным с обеих сторон. И каждое слово их было

не просто словом, а будто кто-то бисером вышивал на полотне окружавшей их фронтовой повседневности прекрасную картину. И оба, не говоря о том, поняли, что, несмотря на расстояние, их мысленное общение, обостряющееся в экстремальных условиях, было обоюдным. Ольга глядела на него с той же искоркой во взгляде, но тепло и ласково. Как он глядел на нее, Артем не знал, однако чувствовал, что его всего окутала волна нежности. Они держались за руки и не хотели отпускать друг друга. Этот час затишья они были вместе...

Война не место и не время для любви, однако она случается и на войне. Но вот вновь раздается свист, гул и грохот — эти ставшие уже привычными звуки сражений, снова потери, много раненых, потому что украинские военные используют кассетные боеприпасы, которые приводят к массовому поражению людей. Они запрещены, но... Сами «укры» в ближний бой не идут, из автоматов почти не стреляют, бьют минами, кассетными снарядами и палят издалека из танков.

Артем ни за что не хотел отпускать Ольгу от себя и добился перевода ее в свой взвод. Им разрешили, и она с радостью восприняла это...

В нескольких сотнях метров от въезда в Угледорск на перекрестке стоял разбитый дом, с проваленными пролетами. Обычный трехэтажный кирпичный дом-старина, каких много в уездных городах всего бывшего Союза. В нем засела группа военнослужащих «укров», и велся огонь. Рядом с этим зданием — детский сад и школа, поэтому одной из целей противника было вызвать, при дальнем обстреле, попадание снарядов по детским учреждениям. Когда отряд приблизился, Артем увидел в окнах автоматчиков, а под крышей — гнезда пулеметов. Начался длительный бой: из минометов и танков равномерно обстреливали уровень за уровнем, а из автоматов, экономя патроны, стреляли только по явно видневшимся в окнах силуэтам. Этаж за этажом они заняли весь дом, часть бойцов противной стороны сдались в плен.

Когда перестали свистеть пули и «хлопать» минометы, Артем увидел, как этот дом похож на тот, где он родился и жил... И этот чудом уцелевший балкон напомнил ему: *вот он в детстве, опершись на такие же вот перила, смотрит в небо и мечтает стать героем, летчиком, космонавтом... а там беззвучно, оставляя за собой белый шлейф, летит сверхзвуковой самолет. «Когда я вырасту, буду строить самолеты...» — тут же меняет свое решение Артем. Учительница на уроках хвалит его за сообразительность, а мама говорит: «Да, ты будешь специалистом, но для этого нужно хорошо учиться и хорошо есть. Сбегай за хлебом и садись за уроки»...*

Немного передохнув, ополченцы двинулись в Угледорск. И первое, что услышали Артем с Ольгой, когда вошли в город, — плач женщины, у которой снарядом в одно мгновение был разрушен дом. Она стояла у плетня и, так как некому было больше пожаловаться, показывала проходившим мимо бойцам на огород: «Вот все мое достояние, сыночки, — копаю, сажаю, пропалываю и поливаю. Нам с детками, — она показала на троих белобрысых ребятишек, — миллионерами с этого не стать. А теперь вот и дома лишились... — рыдания прервали ее слова. — Это все из-за тех, кто хочет за наш счет стать миллионером!..» — выкрикнула она.

...Артем вспомнил, как он, шестнадцатилетний, с матерью ехал в другой город к родным умершего отца, чтобы попросить устроить его в их бизнес. Те были владельцами небольшой фабрики. Но с этим ничего не вышло — бедные родственники никому не нужны. Позже Артем понял — таким людям легче без оглядки эксплуатировать чужих... На обратном пути они с матерью решали, куда ему до армии пойти работать. Об окончании школы и речи не было, так как больная мать одна потя-

нуть их двоих не могла... «Мама, мама, как ты там?» — подумал он: вот уже как месяц нет писем от нее...

Затишье длилось недолго, начались бои, цель — добить остатки «укров», сидящих в Углегорске. Рядом с Артемом и Ольгой пару раз от взрывов высоко вверх вздымалась земля. В ответ, стреляя на ходу, вперед двинулись три танка. У одного из них,— видимо, часто стрелял,— раскалился ствол и вокруг него появились языки пламени. К месту боя ополченцы пошли цепочками вдоль двух сторон улицы рядом с ее проезжей частью. Подойдя ближе, сгруппировались и построились. После получения вводной, группой, подбадривая себя криками, побежали вперед. Их догнал танк, и они сели на его броню, тесно прижавшись друг к другу...

...Взяв Углегорск, ополченцы поставили на господствующие высоты артиллерию. Это уже было полдела. А пока готовились к дальнейшему, выяснилось, что когда военнослужащие ВСУ покидали эти места, то в балку, что под полуразрушенным мостом, они сбросили нескольких сотен тел своих погибших и техникой сравняли с землей. Артема, узнавшего об этом, с одной стороны, объял гнев и омерзение к сотворившим такое нелюдям, а с другой, — охватило вдруг чувство горького сострадания к людям, которых они, ополченцы, здесь защищали — в такие моменты кажется, что ты понимаешь все беды их, все, чего им сейчас так остро не хватает.

После отряд участвовал в перерезывании перешейка... Лобовой атаки не планировали, шли по лугу — трава выше колен,— стреляя из автоматов. Остановились, увидев впереди горящее поле пшеницы, из-за которого «работали» минометы. Подъехал грузовик с легкой артиллерийской установкой в кузове и два танка. Пришло подкрепление и в живой силе — машины с ополченцами в кузовах. Заняли позицию в линию...

И вот Артем видит, как «укры» собираются как раз в том месте, куда направлен его автомат. Он облизывает сухие, потрескавшиеся губы, судорожно глотает скопившуюся слюну и поудобнее устраивается для стрельбы. Но команды все нет. «А жаль! Что они там заснули?» — думает о начальстве. Слышит: «Дзи-и-нь, дзи-и-нь» — это одна за одной пролетают над головой пули. Зажатая в руке граната кажется тяжелой и холодной. Артем, не дожидаясь приказа, бросает гранату вперед, быстро прячет голову и прикрывает ее руками. Ба-а-бах! «Я попал в них?» — спрашивает он у соседа. «Попал», — отвечает тот.

Небо стали покрывать грозовые тучи, солнце скрылось, может, погромыхивал гром, но его не было слышно из-за разрывов снарядов...

Затем при поддержке бронетехники пошли в атаку. У Дебальцево, определив наиболее уязвимые места в обороне противника, организовали несколько отвлекающих штурмов, что позволило ополченцам войти в город и начать его зачистку... И все. Дебальцево, наполовину оставленный жителями, постепенно, в течение недели, перешел под управление ДНР. По улицам бродило много собак, которые разрывали на куски трупы и растаскивали их. Видеть это было очень неприятно. Когда Оля увидела собаку с человеческой рукой в пасти, ее вырвало. «Да, привыкнуть к такому, хоть годы будь на войне, видимо, невозможно», — с тяжелым чувством подумал Артем.

...А 11—12 февраля в результате новых Минских договоренностей успешное и многообещающее наступление войск ополченцев было неожиданно остановлено, и обе стороны должны были 15 февраля отвести тяжелое вооружение с линии соприкосновения...

В конце месяца Артема и Ольгу отпустили в отпуск. Эти две недели были для них поистине медовыми. Они поехали в глубинку Донбасса, в шахтерский городок Снежное — родину Оли,— состоящий из множества сросшихся поселков, живописно разбросанных по высоким и крутым холмам. Заросли деревьев и участки степи тут чередуются с кварталами жилых домов, а вокруг — терриконы и копры шахт (они, наряду с шестеренкой — символом предприятий, изображены на гербе города). В 1990-х стали считать, что добывать уголь невыгодно, и как закрыли множество шахт в Донбассе, так почти все и в Снежном. Позже, в 2000-х, опомнившись, власть имущие — так как уголь все же нужен — многие шахты в городе открыли снова, но уже, конечно, как частные. Как там *руководят*, это уже предмет другого повествования. А крупнейшая, с двумя тысячами работников в прошлом, шахта «Снежнянская» — многие старожилы, как прежде, называют ее № 10 — так и осталась закрытой. Она находится почти в центральной части Снежного. Сейчас территория постепенно разрушается и временем, и людьми, а халатность чиновников привела к ее затоплению. Вокруг города много нелегальных шахт-самокопок. Несколько предприятий в Снежном закрыты,— хотя крупные предприятия, как Химмаш и Мотор Сич, работают. И все же часто жители, бросив свои дома и квартиры, уезжают. В домах повсеместно лифты либо разграблены, либо законсервированы и заложены кирпичной кладкой.

Погода была неважной — хоть ночью был легонький морозец, но днем стояла растепель в +1—4 °С, когда солнечные дни чередовались дождливыми и с мокрым снегом,— и было довольно уныло. Однако после боевых действий и такой климат воспринимался как райский.

Но погода интересовала молодых людей постольку поскольку. Оказавшись в мирной обстановке, Артем и Ольга со всей пылкостью давно сдерживаемых чувств предались любви. Этим вечером мать Оли ушла на дежурство в котельную, и они остались одни. В комнате, которая сохранялась такой же, какой была до отъезда девушки в ополчение, царил полумрак. Они не включали даже бра, так как оба чувствовали, что сегодняшним вечером произойдет нечто, не требующее освещения. Оля включила музыку, и она наполнила собой все пространство не только комнаты, но и их душ. Артем обнял Олю и стал целовать ее в голову, лицо, шею, и ни один поцелуй не был похож на предыдущий. Они не заметили, как освободились от уз одежды, и их обнаженные обнимающиеся тела были теперь чем-то большим единым, выходящим за пределы окружающего их и, в то же время, безраздельно сливающимся с ним. Их движения были танцем — плавным и одновременно хранящим в себе большую, неизрасходованную потенцию движения откровенных, безраздельно доверяющих друг другу людей. Артем целовал свою любимую без конца, и его губы никогда не попадали в одно и то же место. Он чувствовал, что Оля все более и более сливается с ним, и от этого мужественность возрастала в нем.

— А ты настоящий любовник,— прошептала девушка.

В ответ Артем сладостно и долго поцеловал ее. Это был не тривиальный секс, а высшая форма общения, интимный разговор двух людей, которых Бог сотворил мужчиной и женщиной. И они общались, потеряв счет времени, восполняя недостаток любви в своей молодой жизни, оказавшейся в объятиях жестокого времени. Музыка давно смолкла, но в душах их зазвучала иная музыка, напоминающая молитву, и эта все возвышающаяся и возвышающаяся молитва, наконец, завершилась единым выдохом любви, которая слилась с великой Любовью, наполняющей Вселенную.

Они еще долго общались, лаская и обнимая друг друга, словно пытаясь навсегда сохранить то божественное, что открылось им.

И вот сон обнял их...

...Они с Ольгой стоят у высокой и длинной стены, вокруг ребята из их отряда и, странно, мирные жители: женщины с детьми, старики... По ним стреляют, и не уйти, потому что выстрелы раздаются не только спереди, но и слева и справа. Стрелков не видно. Кто-то из стоящих у стены падает замертво, кто-то ранен, но в основном пули пролетают рядом с головой, рядом с рукой или ногой, и люди стараются увернуться от них. Словно цель стреляющих — подольше поиздеваться над людьми, прежде чем убить их. Артем оглядывается на стену: в ней много отверстий, но... все они малы, не пролезть, только руку можно просунуть. И вот, как бы в ответ на его мысль, невидимые руки из-за стены просовывают пакетики с продуктами, медикаментами и санитарными принадлежностями. Люди поспешно хватают их, ибо очень хочется есть, и многие ранены и истекают кровью... И никуда не уйти... И перспектива: рано или поздно — смерть...

...Долго ли они спали, Артем не знал. Проснулся он в холодном поту, когда Оля потрясла его за плечо и тревожно спросила:

— Что с тобой, милый?

Артем, молча, встал и подошел к окну. За ним была уже глубокая ночь. Звезд было мало на небе, и черными тенями стояли дома. Он открыл форточку, и в комнату сразу же потянуло острым весенним воздухом.

— Послезавтра уже март, — проговорил Артем.

— Да, весна... Тебе что-то приснилось?

— Ты знаешь, Оля, я решил остаться здесь, на Донбассе, и биться до конца, до победного конца, — поправился он.

— А как же твой город, друзья, родные? Ты мне столько рассказывал о них.

— Мой город там, где беды русских людей, — чуть помолчав, сказал Артем и обнял Олю. — А главные мои друзья и родные теперь — это ты и наши будущие дети.

И как бы в ответ на его слова, из-за облака выглянула яркая звезда. Ольга и Артем, обнявшись, долго смотрели на нее. Это был Юпитер — планета успеха и оптимизма.



Николай Леушев

(п. Урдома, Архангельская область)



ЛОДКА

Закончил Архангельский медицинский институт. Работает врачом-терапевтом в п. Урдома родного района. Печатался в журналах «Огни над Бией», «Истоки», альманахе «Земляки».

Василий делает лодку, пятиопружку. Работа привычная, приятная. Руки сами знают, что делать. Сколько лодок за всю жизнь изготовлено — и себе, для рыбалки, и людям — не сосчитать! Плоскодонки мастерил из широкой доски. Долбленки из цельного ствола — душегубки, на воде быстрые, но верткие, опасные без привычки. Чуть резко, неосторожно повернулся, дернулся — и оверкиль! В воде рыбак.

Баркасы строил, большие, на четыре тяжелых весла, на четырех гребцов, — траву, сено возить из-за реки. Так, бывало, нагрузят — вода в двух пальцах от края борта! Ничего, плывут.

С кормой делал, без кормы — разные...

Давненько не занимался этим ремеслом. А тут, как всегда в середине лета, накатили деньки эти... Окаянные. Яркие, знойные, радостные, наполненные хлопотами, счастьем — когда-то. Пустые, совсем ненужные — теперь. Да вечера и ночи эти, белые, бесконечные, принялись доканивать. Благостные, желанные — в те годы зрелые. Такие муторные, щемящие — сейчас...

Бродит старик сутками — ни сна, ни дела! Мается.

Сунулся с тоски в «мастерскую» — сарайку за баней, а он, голубчик, тут его и ждет! Давно забытый. Материал — доска, бруски, елка. Вот что нужно! Выволок на свет божий, и пошло дело!

Киль уже готов, из цельной нетолстой елки, к нему в пазы — опруги, шпангоуты по-мудреному. Гнутый, закругленный корень елки будет носом. Сейчас набирает борта, снизу вверх, внахлест, из тонкой сосновой доски. Не спешит, некуда спешить, давно на пенсии. Хорошо делает Василий лодки.

Шуршит из-под рубанка тонкая стружка, жесткая ладонь привычно оглаживает доску. Ровно текут мысли. Думается о прожитом. Вспоминаются жены, дети...

Первая жена у Василия была Александра. Погибла она, утонула. Река забрала. Летом, на сенокосе было. Косили за рекой, на заливных лугах. Погода стояла как на заказ: знойная, с ветерком. Сено сушило быстро: поворошил денек — и метать можно.

Работалось споро. На покосы выходили всем колхозом: вместе и косить веселее, и зароды легче метать. Обедали тоже вместе, на костре варили кашу или суп. Котел огромный! Усаживались вокруг него на свежескошенной траве взрослые, ребята. Хорошо!..

Замер рубанок на половине доски... Вечереет. Прошло стадо. Розовая пыль висит над улицей, там, в конце ее, под высоким крутым берегом — река...

...Очень рано, с зарей, проснулась Александра, как что-то толкнуло ее. Глаза от-

крыла — будто и не спала! Стараясь не разбудить домашних, тихонько проскользнула на крыльцо, подняла к ласковому солнышку лицо и... замерла. Все в мире изменилось вдруг: цвета, звуки, запахи — все стало ярче и милее. Необъяснимая радость теснила грудь. Неожиданные, непонятные слезы на лице, но ни грусти, ни печали. Чудно...

Как-то особенно долго собиралась сегодня невестка на покос, тщательно выбирая, что надеть. И надо же — оделась во все новое, чистое, чем вызвала явное недовольство свекрови. Ишь набасилась! Промолчала старая. Но когда Александра неожиданно села за столом не на свое место у печи, а в передний угол, испугалась даже свекруха:

— Ос-с-споди — как гостья! — вырвалось у старухи.

— Да что вы, мамаша, смотрите — день-то какой сегодня! — еще неожиданное в ответ Александра.

Обедали на пожне весело, шутили, хохотали. Больше всех смеялась и радовалась Александра. Но, расстелив чистое полотенце с едой, ни к чему не притрагивалась. Сидела, положив руки на колени, и все звала подруг:

— Айда, бабы, купаться!

Наконец, не выдержав, вскочила — и бегом к реке! Девки, бабы — за ней. Шумно было. Искупались — одеваться. Похватили свои рубашки, сарафаны — одна рубашка лежит... Разбираться — чья, кто?!

Видят — Александры! Кто-то вспомнил, что нырнула она...

Пока мужики прибежали (купались отдельно от мужиков), время ушло. Василий, резкий такой был, с ходу — нырять... Нашел, вытащил. Давай откачивать... Даже говорили, что какие-то признаки сразу были...

Но вот уже вечер. Не воя и не причитая, горько плачет свекровь. Молчит, безучастная ко всему, пятилетняя Зойка. Трет глаза и все оглядывается растерянно по сторонам — не верит происходящему — старший Алеша. Голодным плачем захлебывается в зыбке золотушный Пашка. Глядя на детей, плачет Василий. И теперь уже на своем законном месте — в переднем углу, на столе под образами, лежит Александра. Тихая. Спокойная. Нарядная...

Доска валяется на песке, сидит работник, курит... Десятки лет одно и то же видит: как в сумрачном водовороте омута серебряно сверкают рыбки и плывет, летит по кругу с ними обнаженная Александра. Тоже вся сверкающая, в зеленоватых солнечных лучах... Но не доплыть ему, не дотянуться...

Крепкий табак нынче попался — глаза ест.

Через две недели после похорон Василий привел в дом Наталью. А куда деваться? Хозяйство, трое ребят, старшему девять, младшему два, мать-старуха еле ходит. Сенокос в разгаре, пахоту не закончили, там, гляди, и рожь поспевать начнет. Самого сутками дома нет — много работ в колхозе в эту пору! Председательствовал тогда Василий.

Ох уж эти колхозы! Кисет упал в песок, снова крутит самокрутку — не замечает. Судорожно затягивается, пальцы подрагивают.

Жизни не видел, детей не видел! День и ночь работал, а свои же, колхозные, — предавали...

Вредительство даже «шили», было. «Сорвал посевную!..» Всего-то на полторы недели позже сев начали. Сообщили...

Тут же проверяющий из области:

— Война идет! Страна недополучит хлеба!

Следователь — то же:

— Вредительство. По законам военного времени!

В поле выйти проверить (земля-то мерзлая: север!) — нет их! Зато бумага в органы готова. Если бы не первый секретарь — ехать тогда Василию не колхоз отстаю-

щий поднимать, а «более крайний Север» осваивать, да за казенный счет. В запечатанной теплушке...

Отстоял первый. А вот на войну не отпустил. «Здесь твой фронт,— колхозы!»

Сколько раз впрягался Василий! Честный был председатель — голодал, но колхозного не брал, горсти зерна колхозного домой не принес!

Петрович, счетовод тогда, в сорок третьем:

— Давай, Василий Иванович, спишем какú похуже телушку на падеж. Ну ли хоть овцу! Голодают твои-то. Вон в «Первомайском» помогают своим, «процент» — положено на падеж.

— Только попробуй! Под суд отдам! Процент! Не посмотрю, что свояк!

И отдавал под суд, бил по рукам, чужих, своих. Жесткий был председатель Василий, гордый. А отчетно-перевыборное — почти все колхозники и половина правления против! Петрович какой-нибудь очередной избран председателем. Прокатывают Василия.

В сердцах плюнет и — в соседний леспромхоз, на валку леса, там хоть деньги. Опять жена одна дома бьется, дети одни.

Только успокоится, полгода какие-то,— предрайисполкома:

— Выручай, Василий Иванович! Тебя снова в «Труженике» выдвигать будем. Двоих после тебя сменили, а все одно — на трудодень больше четырехсот грамм не выходит, против твоих двух кило. Председатели, ети их! Только домой мешками таскать!

Снова мечется Василий по пожням, по полям с утра до ночи. Снова председатель. Избрали. Глаза у людей открываются, когда есть-то хочется.

...Табачок потихоньку успокаивает. Звонит в руках лучковая пила, мысли постепенно возвращаются к ней, к лодке.

«Неизвестно, чья еще будет...» — бормочет про себя Василий, хотя в глубине души уже определился. Знает, вернее, придумал, кто на ней поплывет. Семья это будет: ОН, ОНА и дети, трое.

«Сами они еще молодые. ОН — крепкий такой, лет ему под тридцать, самое то, за веслами, вот на этой скамье. Широко расставленными ногами в броднях упирается в среднюю опругу... Весла сделаю легкие, из сосны опять же, голубые, а лопасти красным покрашу. Такие, когда из воды, мокрые, на солнце далеко видать!»

Рукоятки у весел уже гладкие, отполированы крепкими мозолистыми ладонями. Уключины из цельной березки, прочные, не скрипят, долго не изнаются; да в рундуке запасных пара. Гребется мощно, аккуратно, без брызг, только ровные полосы на воде от капелек с весел.

Лодка словно чувствует силу гребца: идет быстро, ровно, послушно, как будто знает, что ценный груз везет.

ОНА на руле, напротив него. Совсем молоденькая. Правит, весло под мышкой держит. На голове платочек беленький, на ногах резиновые сапожки, черные, блестящие, аккурат по полной икре. Смотрит на него, улыбается. ОН, притворно грубовато:

— На реку смотри, на топляк наткнемся!

Сам доволен. Радуется». И от этих мыслей наконец тоже чуть улыбается Василий, впервые за целый день...

Наталья была второй дочерью у соседа, писаря. И было ей всего девятнадцать, но на удивление спокойно пошла она за Василия. Как потом оказалось — не от хорошей жизни в родительском доме. Нелюбимой дочерью была у отца.

Замуж вышла «на троих детей». Старшим был Алеша. Толковый парень, умный и с хитринкой. В школу ходил за пятнадцать километров. Неохота, бывало, идти:

— Давай, тятя, лучше понянчусь с маленькими.

Отправит строгий отец:

— Ступай, Алеша, учиться надо!

Уйдет, а уже на следующий день явится обратно.

Уроки не учил. В первом классе заставят букварь читать — он книжку откроет и давай декламировать:

— Ма-ма! Па-ма!

Бойко тараторит, но каждый раз по-разному одно и то же место. На картинку смотрит и сочиняет себе, да складно так! Хохочет папаша:

— У нас Алеша букв еще не знает, а читает уже хорошо! Молодец!..

Умер Алеша рано — тринадцати лет, от простуды. Поздней осенью, в распуту, возвращался с учебы. Школа была в селе, за рекой. Снег уже лежал. Холодно, сыро; то примораживало, то оттепель с дождем. День проглядывал хмурый, короткий — с девяти до двух, а в третьем часу небо уже серело, сумерки подкатывали.

Как красиво, весело на реке летом, как ласкова река в солнечный день! Бескрайние золотистые пески и плесы тают в синей дымке, по берегам ярко пестреют выкошенные луга. Ходят катера, снуют лодки. Над всем этим высокое голубое небо. Щебечут птицы, орут чайки, теплый ветерок рябит волну...

И как даже не тоскливо — пугающе мрачно смотрит большая северная река поздней осенью. Неоглядное, шире километра, темно-свинцовое пространство ледяной воды, полностью забитое рыхлым мелким льдом, плотным мокрым снегом — шугой. Все это мощно, непрестанно движется, трещит, бурлит, встает на дыбы. Над водой низкое серое небо, черные тучи, из них то дождь, то снег. И постоянный пронизывающий холодный ветер. Кругом ни души — нечего делать на реке в это время, нечем любоваться.

Река уже стояла, вернее, вставала. Не сразу она встает, кряхтит грозно, недовольно, натягивая на себя ледяное одеяло, укладываясь на долгую зиму. Несколько дней требуется могучей, чтобы заснуть до весны под белым панцирем. Сало — шугу, небольшие льдины — сбивало, где поуже и на поворотах, в плотную массу, в торосы. Там уже переходили кто посмелее. Алеша тоже не из робкого десятка и переходил, бывало; правда, не один, с товарищами.

Затосковал в интернате. Долго зимника ждать! Рванул один после уроков, полтора часа — у реки Алеша!

А тут главное — знать где. Да еще досочку обязательно прихватить, не забыть! Метра полтора. Без нее — совсем страшно... «Вот здесь надо, у кустов. В этом месте и лед набило плотно — затор, и следы на снегу. Топтались, видно, долго. Пацаны, наверно, старшие...» Тоже долго стоит, топчется, решается.

«Ох и широко же здесь — тот берег едва виден... Морозит сегодня. Может, обратно?»

Смеркаться начало... Решился. Домой шибко хочется — две недели не был. Пошел Алеша. Ну, с Богом!

Хорошо идет, ловко, быстро. Нельзя задерживаться! Кидает досочку — мостик, с льдинки на льдинку, с кучки на кучку. Три шага по ней — встал на твердое, нагнулся, подтянул досочку — кинул дальше, снова три шага по мостику. По сторонам не смотрит — нечего там смотреть! Только — вперед, на три шага...

А по сторона-а-ам! Все шуршит, журчит, скрипит, переливается. Льдины в затор сбило плотно друг к дружке, стоя, — держат хорошо. В сумерках они ярко-белые, а лужицы, промоины, полыньи, «озера» — черные, страшные! Неизвестно, мелко там — льдина — или бездна... Еще страшнее, когда громкий треск, скрип, — вдруг подвижка!

Стремительно темнеет. Но вот уже и тот берег хорошо виден, метров сорок-пятьдесят еще... Внезапно сзади, где-то на середине реки, страшно бухнуло, затрещало. Досочка сдвинулась вправо. Вздрыгнул Алеша, шагнул за ней вправо и сразу провалился правой ногой! Зачерпнул полный валенок ледяной воды, но неглубоко, по колено! Дернул ногу — не дает! Зажало льдом. Запаниковал, забился в ловушке. Схватившись руками за льдину, рванул Алеша изо всех сил и выдрал наконец босую

ногу из папкиного валенка! Пошатнулся, шагнул влево и тут же ухнул с головой в смертельный холод. Дна уже не почувствовал...

Секунды пролетели, минуты?.. Пока осознал Алеша, что висит на руках, держась за лед, по горло в воде. Сжало всего страшным ледяным прессом, не двинуться!

— Ма... ма... ма...

Не вдохнуть, не выдохнуть от холода...

— М-м-ма-ма-а-а!!!

Снова треск — снова подвижка. Чуть свободнее стало ногам. Обламывая ногти, раздирая в кровь руки, колени, босую ногу, вывернул из полыньи на лед страшно тяжелое, непослушное тело. Тут же пополз, поминутно снова то рукой, то ногой проваливаясь в холод, уже не чувствуя его и почти без страха; на карачках, на ощупь, наугад! Почему-то, как бабка, причитая тоненьким голоском:

— Осподи-и! Осподи-и! Осподи-и-и!

Туда, к чернеющему спасительному берегу, к дому...

Когда выбрался на дорогу, стемнело уже. Нельзя стоять! Знает Алеша — бежать надо, идти хотя бы! Семь километров. Не идут ноги... Коробом стало пальто, брюки, проволокой волосы на голове: утонула шапка, рукавицы, валенок. Не работают мышцы, сковало — будто резиновые.

Смекнул — с трудом «переобулся»: портянку из уцелевшего валенка как мог отжал, намотал чуней на босую ногу. Крупная дрожь начала сотрясать худенькое тело, до боли свело челюсти, пугающе-громко застучали зубы. Но пошел, не чувствуя уже ни рук, ни ног...

Как-то до дому добрел.

Забегали все сразу, завывли бабы. Забросили парня на горячую печь, растерли, завалили одеялами, полушубками. Поили горячим молоком, чаем, сушеной малиной, травами. Снова растирали. Всю ночь топили баню, парили. Молились...

Но не встал Алеша. К утру закашлял, поднялся сильный жар, началась одышка, бред. Просил все, задыхаясь:

— Лед уберите! Ле-ед! Грудь льдина давит. Ле-ед уберите!..

Привозили фельдшера, на родах был в соседней деревне. Осмотрел. Диагноз поставил — пневмония крупозная.

— Стрептоциду бы надо...

Да далеко, в райцентре, — сто километров с лишним. Велел водкой растирать...

Прометался Алеша в страшном жару четверо суток и умер, от пневмонии. В народе простудой называли. Не лечили тогда от простуды...

Над рекой проплыли огоньки: зеленый, желтый. «Двиносплав» прошел — катер, мачта только видна из-под берега. Подпрыгивают, расплескиваются огоньки. Близко стариковская слеза...

Снова шуршит стружка. «Проконопачу крученой паклей, просмолю пеком-варом. Скамейки шкуркой отшлифую, покрашу желтым... Дорого не запрошу... Так отдам. На дно лодки трапик из реечек, чтобы ноги у ребят — сухие. Рядом с хозяйкой дочь, маленькая. Умница. Мальчишки — те на носу, „капитаны“!..»

Младший Павел деловой был. Все швейные иголки, бывало, на реку снесет. Туго с едой по весне — одна картошка. Как только ледоход пройдет, Паша уже на рыбалке. Целыми днями на реке. Вечером шагает гордый — полный котелок плотвы в руках несет. Ни крючков, ни лески нет, а без рыбы ни за что не вернется! Вместо лески — волос длинный, прочный, из конского хвоста.

— Кормилец наш! — сквозь слезы смеется Наталья.

Последнюю швейную иголку бесполезно прятать — найдет Пашка! Раскалит на костре, загнет — переделает в крючок! Снова Наталья без единой иглы в хозяйстве. Райпотребсоюз-то — пятнадцать километров по тайге, когда еще сбегашь! Стерпит

мачеха, не ругает. Ладно — уха вечером на столе. Добытчик! Дружно жили, как брат с сестрой.

Вырос деловой Павел. Деятнадцати лет, в сорок третьем, забрали на войну. Воевал до Победы, был в разведке. Вернулся живым. Гордость отцу — на груди принес «За отвагу», Красную Звезду и орден Славы. Да две нашивки за ранения. Как, где — не рассказывал, не любил. И еще одна беда, без нашивки, позже обнаружилась. Испортила его война — сильно выпивать начал...

Не взяла Пашу пуля. Погиб дома. Нелепо погиб — утонул. На машине везли из райцентра товары в поселковый магазин. Выпили, по пути добавили. Мужики — в кузов, на ящики с макаронами, курить. Павел — за руль. Хорошо поехал, но там, где дорога вдоль реки, вдруг съехал в воду. Мужики с хохотом поспрыгивали, неглубоко вроде! Паша выбраться из кабины не смог...

Дочь чаще вспоминается уже большой, взрослой, двадцати девяти лет... А родилась слабенькой — думали, не выживет. Мать все плакала, Бога молила. Отставала Зоя с самого рождения. В пять лет не говорила еще, бродила за бабушкой, держась за подол, и все пальчик в рот. Так и росла, бедная, рядом, как подорожник какой; тихая, незаметная, безмолвная. В школу не ходила вовсе. «Засматривалась» она.

— Родимчик ее забирает! Святой водой бы надо! Заговором! — советовали бабушки.

Делает что-нибудь Зоя по дому или на улице и вдруг застынет. Смотрит, смотрит перед собой через предметы, как будто видит что. Потом падает — и судороги. Язык искушает, обмочится... Припадки у нее были. Не помогали заговоры... Дома сидела, нянчилась с маленькими.

Молоденькая мачеха, натерпевшись обид от жестокого отца, жалела ее. И Зоя привязалась к ней, полюбила.

Летом Зоя постоянно на огороде. Когда повзрослела — много работала. Но в лес, на сплав, у механизмов — где заработки — ее не брали.

«Высокая была, баская, а гулять не ходила. Хорошая была. Работала, работала... О чем думала? Тосковала?.. Хотела, наверно, и гулять, и дружить. Любить, нянчить своих детей. Был, может, и тот, единственный, при случайных встречах с которым тревожно и радостно билось девичье сердце... Никто уже не узнает. Тогда все некогда было спросить — сейчас уже не спросишь...»

Сутками метался Василий по реке, на катерах, на своей трехпруске, по затонам, отмелям, кустам — безрезультатно. Искал, кричал, звал Зою. Хотя сразу понятно было — бесполезно звать. В память врезалось: лето, жара, ярко светит солнце, ослепляюще блестит река, а глянешь на небо — черное небо!

Реку даже просил, чтобы отдала дочь...

Отдала...

Дома сидит Василий. Сам почернел. Без сил уже — ни сна, ни еды. Видит вдруг — один прошел, другой. Вышел на улицу: люди все идут, идут куда-то, быстро идут, молча... Побежал отец, понял все сразу. На реку...

А взяли Зою на катер, когда Василий был на сплотке, в соседнем леспромхозе. И взяли-то сходить вверх по реке, на нефтебазу за горючим — мазут, солярка, масла там всякие. Тут всего: день — туда, день — обратно. Помощником взяли. Некого больше было, лето — все на сенокосах, на сплаве, не хватало рабочих, да и сама просилась.

Ходили с баржей, на короткой сцепке. На барже две-три большие бочки — вот туда и заливали. Ну а помощник — он на катере, в трюме, или на барже, вроде бы и под присмотром.

На базу пришли, загрузились, обратно вышли — все нормально. Рулевой вперед смотрит, моторист — у мотора. А когда пропала помощница — и не заметили. Все вроде в трюме была...

С вечера готовилась Зоя на работу: тщательно прибрала в доме, вымыла полы, выбрала, что надеть с утра — все новое, самое любимое. Утром вскочила, быстро оделась и бегом на реку.

— Господи, день-то какой сегодня!

...Монотонно стучит дизель на «Шиговарах», шустро бежит катерок вниз по реке. Вечер. Полный штиль. Закат. Не слышно птиц и не мешает шум мотора. Тишина.

Зоя на корме. Плывет с ней вместе золотисто-розовое небо. И плавно, вправо-влево, разваливаются волны. Две первые — большие, ровные и гладкие. В них небо изгибается, переливается причудливо, дрожит. За ними мелкие — все с гребешками, пузырями, пузырьками. Разбивается и рассыпается в них золото на миллионы разноцветных огоньков и бликов. Темно-зеленые огромные шары, валы все выплывают у кормы. Манящие, тяжелые, густые.

И хочется смотреть, смотреть, и невозможно взгляда оторвать... Так и плыть бы всю жизнь по розовой реке, не помня ни горя, ни печали, забыв насмешки, взгляды и обиды. Как хорошо, легко сегодня на душе! И радостно, и больно, слезы на глазах! И все зовет, зовет ее куда-то голос, такой знакомый, ласковый, родной. Засмотрелась Зоя...

Искали ее долго, больше недели... Нашли Зою плотогоны — с плота увидели. На плоту и повезли. Навстречу из поселка вышел катер, с плотом-то не причалишь. На катере довели, на «Шиговарах».

Туда, на берег, и бежит Василий.

Пришвартовался катер. Отпрянула толпа от резкого, останавливающего дыхание, осязаемого липкого, сладкого запаха. От ужасающего, отталкивающего цвета. От неправдоподобно огромных размеров: жара, вода парная сделали свое дело — полопалась одежда, кожа... Тихо было. Лишь он один, прижавшись щетинистой щекой к безобразно-белому черепу, к тому, что было недавно застенчивой улыбкой его ребенка, просил негромко что-то, нараспев; гладил, прибирал все распадающееся. Баюкал? Запоздало. На коленях, на раскаленной палубе. Да она постукивала тихонько, поплескивала теплым приборчиком в борт катера. Величавая, спокойная. Река.

Похоронили Зою в селе. В поселке не хоронят: заливают река поселок каждую весну, в половодье. Топит. Могилка ее недалеко от церкви. Там и лежит его Зоя. Бедная Зоя. Хорошая Зоя...

...Темнеет. Прохладная пыль под босыми ногами. На зеленоватом небе загораются звезды. Летят гудки со стороны реки, и все плывут, дрожат там изумрудные, янтарные огни... Давно уже нет и Натальи... Снова курит Василий Иванович, глаза влажные. Поплакал — чего скрывать. Полегче стало на душе, и пусто как-то...

Вот поплывут на его лодке те — молодые, дружные. «Просто так» поплывут — у костра посидеть, отдохнуть, как сейчас говорят. А вечером на берегу, на лавочке, их старики. Она:

— Глянь, не наши ли гребутся?

Он (ласково, давно уже увидел и радостно узнал по этим веслам — два красных солнышка все загораются в гребках!):

— На-а-аши, мать, наши!

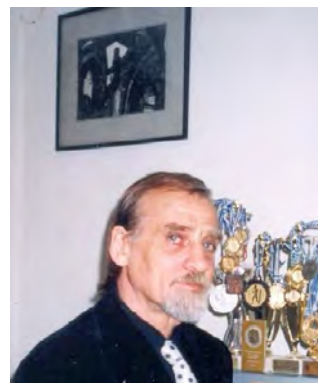
Мечтает Василий.

Но давно уже никто не заказывает ему лодки. Сейчас все больше на дюралевых, из магазина. Прочнее и с мотором — сила, скорость.

Отлично делает Василий лодки. Славные получаются, красивые, легкие. Мастер Василий. И рыбу хорошо ловит. Но давно не был он на рыбалке. Давно уже не любит Василий рыбалку. Не любит реку.

Совсем темно над лодкой. Рубанок вжикает, поет пила, белеет стружка на песке. Работает Василий. Улыбается.

Ефим Гаммер
(г. Иерусалим, Израиль)



БОЙ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Наш постоянный автор

Иерусалим сходил с ума. Впервые за три тысячи лет своего непростого существования он подвергнулся не осаде, не разграблению, а выходил на кулачный бой, причем по всем гуманным правилам боксерского искусства, в кожаных десятиунцовых перчатках. И не против палестинцев, сирийцев или прочих ливанцев, а против немцев. Да-да, немцев из Западной Германии, детей и внуков солдат Вермахта, от чьих рук у многих нынешних израильтян погибли родные и близкие из старших поколений.

Когда-то я писал, что был самым счастливым еврейским мальчиком в Риге. У меня, рожденного в апреле 1945 года, остались после войны в живых и родители, и оба дедушки, обе бабушки. Такого везения евреи моего поколения не ведали не только в Риге, но повсеместно — в Польше, Чехословакии, Украине, России, Латвии, Литве, Белоруссии, во всех тех местах, где осуществлялось «окончательное решение еврейского вопроса». Разумеется, и в Израиле, куда негласно, а потом законным путем прибывали мои соплеменники. И вот сейчас, когда по всему городу расклеены плакаты о предолимпийском матче по боксу между сборными Иерусалима и Западного Берлина, они уже заранее обсуждали ход поединков и строили прогнозы на Московскую олимпиаду — 1980.

— Как ты считаешь,— спрашивал меня Марк Зайчик, спортивный комментатор радио «Голос Израиля», с кем я изредка, хотя он и «тяж», боксировал в спарринге «на технику». — У нас есть шансы побить немцев?

— Ринг покажет,— уклончиво отвечал я.

— Но все же... Кто у нас есть в Иерусалиме сейчас? Ты... И?

— Я и открываю турнир. Работаю в первой паре.

— А остальные?

— Остальные из Тель-Авива.

— Немцы знают об этой хитрости?

— У них тоже в принципе сборная Западной Германии. Это для видимости говорится «Иерусалим — Берлин», чтобы сгладить национальный момент. На самом деле, расклад такой: евреи против немцев. Причем, в руках одинаковое оружие. Перчатки, Марк! И тут мы еще посмотрим, кто кому вмажет, когда они не с автоматами на нас, безоружных...

— В прежние времена весь клан братьев Люксембург составил бы вам компанию. Но все трое уже по возрасту не подходят, ушли в тренеры.

— Я тоже не мальчик. Мне 34.

— Ты в форме...

— Ясное дело, для меня это последний шанс.

— Предельный возраст для любителей, — напомнил спортивный комментатор.
— Но не для профессионалов, Марк! Прорвусь на Олимпиаду, а там посмотрим.
— Смотри сейчас...

Намек Марка я понял с полуоборота. Все бои с местными боксерами и приехавшими из-за границы за путевкой на Олимпиаду я заканчивал с «явным» уже в первом раунде, за минуту-полторы. Тренеров занимало: как я буду выглядеть на международном ринге, когда придется выкладываться все три раунда. Хватит ли дыхалки и выносливости? Не потеряют ли убойной резкости мои кулаки? Все же по их версии я — «старик».

В отличие от них, «стариком» себя я на ринге не чувствовал. Во мне еще копилось с десяток неистраченных боксерских лет. Глядишь, при благоприятном раскладе на Московской Олимпиаде, еще и в профессионалы вырвусь. Появятся хоть какие призовые деньги. А то ведь не на что жить. Стипендия на курсах иврита — не зарплата. К тому же, впереди прибавление семейства, и хоть устраивайся на завод слесарем — по прежней специальности. Правда, и слесарем меня пока что никуда не брали.

— Оформим вас слесарем, — разъясняли мне в отделе кадров завода «Гельрад» на полузабытом русском, — а материально вознаграждать надо, как инженера со стажем. В два раза больше придется платить, чем обычному слесарю. И ради чего? За ту же самую работу.

— Почему? — недоумевал я. — Слесарь и слесарь.

— А университетское образование?

— Не учитывайте!

— Так нельзя. Бухгалтерия не пропустит.

Вот я и оставался, как перекасти поле: на производство рядовым рабочим не брали, в институт Вингейта на курсы учителей физкультуры не принимали.

Катись туда, катись сюда.

Рассчитывай только на бокс и выбивай победу за победой в своем «пенсионном» для спорта возрасте.

Авось, оскал саблезубого тигра обернется улыбкой удачи.

Эта удача, держащая в боксерской перчатке призовой билет на Олимпиаду, смотрела на меня из синего угла ринга.

Крепыш — немец переминался с ноги на ногу, поглядывал на меня. Не знаю, что ему говорили о сопернике-переростке? Но представить несложно. Установка секунданта перед боем звучала, приблизительно, так: «Он — старик! «Сдохнет» уже во втором раунде. Потаскай его по рингу, и добивай!левой — правой, еще раз правой, как ты умеешь, и он — твой».

Мне секундант ничего не говорил. Возрастная разница между мной и немцем — тринадцать лет. Он чемпион Западной Германии, победитель отборочного турнира в Гамбурге.

Молодость — за него.

Что за мной? Опыт? Нет, опыт при такой возрастной разнице не в счет.

А что в счет?

То, что я еврей, стою на земле Израиля, и в моих руках такое же оружие, как у противника. Вот что!

— Боксеры на центр ринга!

Рефери вызывает нас, и весь зал иерусалимского «Дома молодежи» замирает в ожидании. Мы пожимаем друг другу руки. Я рта не раскрываю: чего говорить, когда слово за рингом? А немец — распогодился, что ли от нашего гостеприимства? — выбрасывает какую-то фразу. С угадываемыми сквозь «шпрыханье» словами «Иерусалим», «Израиль», «юден» — «евреи».

«Юден!»

Это был тот удар, который нанес немец сам себе, в поддыхало, не иначе. Если раньше против него был направлен разве что мой многолетний навык турнирного бойца, то сейчас всем своим существом я рвался показать ему, во что превратили бы во время войны его предков мои предки, будь у них под рукой равноценное оружие.

Мне трудно объяснить, что произошло со мной. Но эта гортанная речь, пусть и приветственная по своему существу, внезапно включила во мне какую-то подспудную энергию наших двужильных праотцев Маккавеев, разгромивших самую мощную армию древнего мира — греческую.

Без всяких подсказок секунданта я уже изначально предвидел, что будет происходить на сером квадрате ринга все три раунда подряд.

Гонг!

Мы сближаемся. По диагонали. Ему четыре шага до центра. Мне четыре шага. Но на четвертом шаге правую ногу я резко ставлю в сторону и, меняя стойку, наношу немцу первый, он и разящий наповал удар.

Нокдаун?

Нокдаун!

Но судья не ведет отсчет секунд, бой не останавливает. И я нанизываю атаку на атаку, тесно противника в его синий угол.

Удар за ударом. Джеб, кросс.

Удар за ударом. Апперкот, хук.

Как я работал? Описывать подробно не буду: в обычной своей манере, на обходе и упреждении. Визуальная картинка, пусть и не этого поединка, дана Марком Зайчиком в его рассказе «Столичная жизнь», опубликованном в журнале «Студия» № 10 в 2006 году. Вот как он описал в рассказе мою манеру боя, взяв за основу спарринг, который я проводил в Тель-Авиве с лучшим боксером Израиля 1979 года Шломо Ниязовым.

«Он стоял в спарринге с молодым парнем призывного возраста, остриженным наголо. Он был очень пластичен, худые, узловатые руки его летали дугами, сам он порхал кругами, получая от соперника по голове и по корпусу. Они оба не слишком весомо попадали друг по другу, но выглядели убедительно — упрямые, настойчивые бойцы».

Берлинец тоже выглядел упрямым и настойчивым. Но этого мало. В скорости он уступал, да и в арсенале технических приемов я превосходил его.

Удар за ударом. Джеб, кросс.

Удар за ударом. Апперкот, хук.

У немца пошла кровь из носа. Зеркала души принимают дымчатый отлив. Я «плаваю» в его зрачках. Несомненно, парень в гроги. Но стоит на ногах, держится. И рефери не спешит объявить нокдаун. Он — наш, израильский рефери. Видать по всему, в нем тоже колобродит, не дающая мне покоя фраза: «Мы еще посмотрим кто кого, когда у нас в руках одинаковое оружие».

Гонг!

Минута отдыха. И опять секундант обходится без наставлений и советов. Обмахивает полотенцем и приговаривает:

— Хорошо! Хорошо! Бей! Ты — первый. За тобой вся команда.

Я смотрю на него. И мне вспоминается, как в Риге, когда снимали фильм о Штирлице «Семнадцать мгновений весны», поддатые статисты, облаченные в эссовскую форму, «пугнули» в Верманском парке двух сидящих на скамеечке старушек-евреек.

— Юден! — сказал тот, кто повыше.

— Пиф-пах! Шиссен! — нацелил палец тот, кто ниже ростом, с усиками — квадратиком, явно под Гитлера.

Одна старушка чуть не умерла, увидев перед собой ожившего злодея из времен ее покалеченной юности, вторая набросилась на хулигана, расцарапала щеку, сорвала наклеенные усы. То-то было смеха среди праздно шатающейся публики. Мне тогда было не до смеха. И «эсэсовец» с расцарапанной физией сполз на цветочную клумбу, держа в зубах «гонорар» за участие в массовке.

Сегодня без массовки и без отрепетированных заранее сцен.

Бокс, как жизнь, не знает репетиций.

Гонг!

Второй раунд!

И второй раунд, и третий я гонял немца по рингу, вынимая из него душу.

Удар за ударом. Джеб, кросс.

Удар за ударом. Апперкот, хук.

И с каждой минутой все отчетливее сознавал: нельзя заканчивать бой до срока. Тренеры сборной должны видеть, что я столь же вольно чувствую себя в третьем раунде, как и в первом.

Дыхалка у меня была и впрямь отменная. А уж о волевом импульсе и говорить нечего...

Финальный гул гонга.

Все! Кончено! Теперь от меня ничего не зависит!

Судья-информатор:

— Победа по очкам присуждается Ефиму Гаммеру. Счет один — ноль в пользу Израиля.

Рефери поднял мою руку в черной перчатке, я по традиции кинул голову на грудь и впервые увидел свою бойцовскую майку. Из крахмально белой она превратилась в красную, вишнево-яркую от крови, немецкой крови...

«Мы еще посмотрим — кто кого, когда у нас в руках одинаковое оружие!» — рефреном прозвучала в уме, и я посмотрел в притихший от волнения зал.

На следующей день после встречи на ринге меня пригласили в гостиницу, где остановилась немецкая команда. И недавний противник вручил мне именной, им, чемпионом Западной Германии, подписанный вымпел.

В разговоре выяснилось: его отец был в советском плену, жил в лагере под Ригой, работал на строительстве, восстанавливал разрушенные дома.

Мне тут вспомнилось, как в раннем детстве, в начале пятидесятых годов, когда я жил в Риге, на улице Аудею, мимо нашего дома гнали колонны пленных. Они разбирали завалы камней возле кинотеатра «Айна», там, где на месте прежней, разрушенной бомбой гостиницы была в 1956 году построена новая, названная «Рига».

Выходит, отец «моего» немца был среди тех пленных, у которых мы, приемные дети войны, выменивали за кусок хлеба заграничные марки, монеты, металлические пуговицы с их мышинового цвета шинелей.

Я смотрел на своего противника, не знающего ни слова по-русски, смотрел на его тренера, а по совместительству и переводчика, сносно, хотя и с сильным акцентом говорящего на моем родном языке. Оказалось, и он был в плену. К тому же не где-нибудь, а в Риге, работал на восстановлении местной гостиницы. При упоминании об этом во мне мгновенно мелькнуло: а не у этого седого мужика с перебитым носом и водянистыми глазами я некогда выменял медальон?

«У него! У него!» — мелькнуло в мозгу. И во рту сразу пересохло, будто я снова окунулся в детство. Время тогда было особое — взрывоопасное, как полагали взрослые. Называлось на научном языке: «эпоха холодной войны».

Мы, дети победного 1945-го года, не слишком хорошо разбирались в этой терминологии. Холодная война, горячая, главное — война. И враг определен — «янки дудл», на русском — американцы. Так что порох нужно держать сухим, а палец на спусковом крючке. Для нас это присловье было далеко не пустым звуком. И порох имелся, и спусковой крючок. Но это дикий секрет. Сегодня, за давностью лет, никого не посадят, поэтому докладываю, как на заседании Генерального штаба: 1 марта 1953 года мама послала меня с Ленькой, двоюродным братом, на чердак развешивать белье. Впервые без нее, самостоятельно. Вот мы и порыскали в свое удовольствие по запретной территории, что раньше, под родительским присмотром, не удавалось. И обнаружили в укромном местечке, за брусом, маленький револьвер 1917 года выпуска: без барабана, однозарядный, если говорить по-солдатски. А рядом с ним кожаный ремешок, как от наручных часов, с патронами в круглых ячейках.

Один выстрел произвели сходу, для проверки готовности ствола на случай боевых действий. И убедились — порох сухой, а палец правильно лег на спусковой крючок.

После выстрела немного струхнули: «враг не дремлет», а вдруг кто подслушивает? Но нет, даже соседей не всполошили. И с трофеем спустились в квартиру, на первый этаж, чтобы зажить обычной жизнью: дом-школа, двор-кино, драка-наказание.

Оружие, понятно, ждало в кармане применения, искало — скажу красиво — цели своего существования. У него ясно, какая цель — «стрелять, и никаких гвоздей». А у человека, желающего стать чемпионом мира по детству? Столь же ясная! Совершить подвиг, прославиться наподобие Робин Гуда. Яснец-леденец, не за счет пальбы по воронам.

Но где отыщешь живого бандюка, да еще вооруженного до зубов? На экране? В картине 1924 года «Банда батьки Кныша»? Но там они все уже дохлые!

А шпионов, если верить фильму «Застава в горах» с мировым актером Сергеем Гурзо, всех уже выловили.

Вредителей после смерти Сталина тоже больше не обнаруживалось.

Скукота какая-то! Но недаром поется: «кто ищет — тот всегда найдет».

Впрочем, искать особенно и не приходилось. Мимо нашего дома по булыжной мостовой улицы Аудею ежедневно ранним утром вели под конвоем толпу пленных немцев. Куда? На работу. Восстанавливать то, что разрушили своими бомбами и снарядами. Гостиницу «Рига». До войны она называлась «Рим», была высшего разряда и располагала шикарным винным погребок, который, по слухам, тоже вздумали восстановить.

Немцев охраняли довольно плохо, позволяли нам, мелкоте ветрогонной, подкармливать их. Разумеется, не пирожками с повидлом — черным хлебом, вареной картошкой, кислыми огурцами. Подкармливать не так, чтобы за так, а в обмен на сувениры и всякое разное, пригодное для наших бездонных карманов. У этих фрицев, прошедших всю Европу с грабительским интересом к чужому добру, легко было отovarиться марками, значками, пуговицами с тиснением, монетами неведомого денежного достоинства. Допустим, вычеканена на кругляке цифра 1 или 2, а что это — франк, пфенниг, доллар? — хренушки разберешь. И в магазин не двинешь с подобными деньгами, сразу отведут в милицию.

Марки раскладывали по альбомам. Значки цепляли на лацканы пиджаков, пуговицы, чтобы фразернуться, пришивали к рубашкам. Мечтали заполучить губную гармошку. Но впустую, ибо жизнь давала понять: мечтать не вредно.

Но с того дня, как задумали провести во дворе чемпионат мира по детству, ждали не только даровой гармошки, но и тревожного часа X, когда пленники, по нашим предположениям, набросятся на охранников, завладеют их оружием и... да-да!.. мы двинем на спасение родной Риги от коричневой чумы — фашистов.

Как сказано, порох мы держали сухим, а палец на спусковом крючке. Но немчура не мутила спокойную рябь повседневности каким-либо недовольством, переходящим в бунт, который под позаимствованные из книг крики «хальт! хенде хох!» мы «искореним на корню», как пишут в газетах о пьянстве и уличном мордобитии.

Пусть пленников охраняли плохо, они все равно не порывались смотать удочки в родную Германию. Конвоиры были уверены: никуда они не убегут, некуда им бежать — кругом, куда не посмотри, на тысячи километров земля наша. Упарятся бегать! Потому и стерегли их без окриков, без устрашающих выстрелов в воздух и тем самым не вызвали в заключенных нервного брожения, переходящего, как учили в школе, в неуправляемое волнение масс. У них без неуправляемого волнения, у нас, доморощенных Робин Гудов, без героической схватки с гитлеровцами.

Как сравниться с отцами в освоении суворовской науки побеждать?

Что делать?

Думать, думать, думать, как учил Петьку на уроках стратегии Василий Чапаев.

А кто много думает, тот, наконец, и додумается.

Я додумался.

— Давай выкрадем фрица из колонны, а потом его вернем, как новенького, будто поймали в бегах и в плен взяли!

— Да он, мабуть, в плен сцапанный, когда тебя, Финичка, и в проекте не было, — встревожился мой приятель Эдик по кличке Сумасшедший, не любящий впустую бегать наперегонки.

— Взрослыми сцапанный! А взрослые нам не соперники в чемпионате мира по детству!

— Нам за такое дело дадут по шапке.

— Сначала медаль «За отвагу».

— А кто кормить будет этот лишний для нашей кухни рот? Меня мамка из дома выгонит, если я стибрю чего-то похамкать для недобитой этой посторонней личности.

— Меня не выгонит, — раздумчиво сказал я, помня, что моя просьба — «Мама! Дай мне хлеба с маслом и сахаром!» — признавалась на правах законного требования.

— Ну, если ты согласен кормить лишний рот...

Неопределенное «ну» было воспринято как знак согласия. И меня тут же отрядили на проведении операции. В сопровождении Эдика Сумасшедшего — самого честного, по его собственным словам, свидетеля.

Мигом я оказался на этаже своей квартиры.

— Мама! Дай хлеба с маслом и сахаром!

— Один кусочек?

— Четыре!

— Проголодался?

— Ленька тоже кушать хочет. И Борька...

Умело завернул многоэтажный сэндвич в газету, чтобы масло не проступало сквозь бумагу.

— Ты куда? — спросила мама.

— На задание! — и рванул в коридор.

— Но сначала покушай, и далеко не убегай, сегодня день рождения у бабушки Сойбы, будет торт с лимонадом, — неслось мне вдогонку на крыльях материнской любви, пока я распахивал дверь на лестницу.

Во дворе кликнул Эдика Сумасшедшего и вперед-вперед к недостроенной гостинице «Рига». Швейцара там еще не наблюдалось. Опасаться было некого. Солдат-часовой смотрел на нас совсем не так, как в замочную скважину. Без всякого любопытства.

«Шастают тут, шастают,— рассуждал он, будто читая мои мысли.— Подкармливают паразитов. Нет, чтобы угостить советского солдата, который кровь за них проливал».

По возрасту этот солдат кровь еще ни разу не проливал — ни за нас, ни за братьев наших меньших. Папа его, может быть. Папу и угостили бы. А он...

Что с человека возьмешь, когда и ему нечего взять с нас?

Отдали честь по-мальчишески и прошли в холл, а оттуда — это мы уже досконально изучили — направо и вниз, где закладывался бар, получивший от нас в конце шестидесятых прозвище «Подводная лодка». Сбоку от него возводилась кабинка с цифрами 00. Унитаз монтировал пожилой сантехник с утолщенным носом, морщинистым лбом, добродушным лицом. Был он в кепи и потертой шинели мышиного цвета. В прошлый раз я отоварился у него редкой маркой с изображением английской королевы.

Уткнувшись лбом в сидяк, старик подвинчивал болты у основания унитаза гачным ключом. Повернул голову на скрип двери, снял головной убор и поманил им к себе:

— Киндер? Ком-ком...

— Бутерброд,— сказал я, полагая, что сносно перевел на язык Гете словосочетание «хлеб с маслом» и показал бумажный сверток.

— Гуд-гуд!

Немец поспешно потянулся за угощением и я, не успев отпрянуть, остался с пустыми руками.

— Гуд-гуд! — бормотал сантехник, разворачивая пакет.

Эдик Сумасшедший толкнул меня в бок:

— Хватит уже ему «гудеть». Воткни ствол в ухо и бери в плен!

— А как мы его выведем отсюда? Незамеченными не выйдем,— вдруг проснулась во мне здравая мысль.

Немец, игнорируя наши распри, стянул с ноги короткий сапог с широким голенищем. И — вот так диво! — отвинтил каблук. Хитро придумано: оказалось, он полый, а внутри, в специально вырезанном углублении, припрятан медальон. Был он желтого цвета, должно быть, изготовлен из латуни, с голубым камушком на верхней дверце, которая открывалась при нажатии кнопки и показывала спрятанную на дне миниатюрную фотку. На снимке — женщина в белом подвенечном платье и красивый молодой человек с шапкой вьющихся волос. Усики у жениха — узкие, щеголеватые, как у Раджа Капура в кинофильме «Бродяга», самом любимом у рижских зрителей 1954 года: билетов не достать, а очередь в кассу — хоть стой до завтра.

«Медальон подарю бабушке Сойбе,— осенило меня.— Восемьдесят четыре года — не шутка. Это же надо, как подвезло в день ее рождения!»

И мне расхотелось брать немца в плен. Гораздо сильнее захотелось позаимствовать ювелирное изделие.

— Гиб мир — дай мне,— сказал разом на двух созвучных языках — идиш и немецком, помня, что мама, укладывая детей в кровать, пела «гиб мир а бисиле мазл» — «дай мне немножко счастья». И добавил, культурной воспитанности ради: — Данкешон! — Большое спасибо!

В итоге «бартерной сделки», как написали бы сегодня, я приобрел драгоценное украшение из неизвестного металла в обмен на бутерброд с маслом и сахаром. Свое приобретение я засунул поглубже в карман брюк, чтобы на выходе из гостиницы не отобрал охранник, и поспешил восвосяи.

«Отличный подарок!» — тихо радовался в уме, позабыв на некоторое время о чемпионате мира по детству.

Бабушка Сойба сидела на табуретке в углу комнаты у тумбочки с радиоприемником, подкручивала ручку настройки громкости и согласно кивала в такт торжественно произносимых диктором слов.

— Фройка, послушай, что говорит умный человек в Москве,— повернулась к мужу, нарезающему острым ножом лучину для растопки плиты, чтобы готовить праздничный ужин.— Говорит: «урожай». И обратно говорит: «рекордный». В одном таки он прав — собрали. Но куда все это увезли? Что мы видим с этого урожая своими глазами, если они не слепые? Только очереди. В магазинах очереди за сахаром, колбасы нет, и сыр пропал с прилавков.

— Ох, казачка! — отвечал дедушка Фройка.— За диктора речи нет, но хватит думать про тех, кто говорит по радио. Им пишут — они говорят. И зарплату получают. Два раза в месяц. Сначала аванс, потом получку. А мы слушаем, развесив уши, и получаем пенсию — всего один раз в месяц.

— Мы эту пенсию видим в полный рост только в кассе, после подписи о получении. А потом, как пойдешь на базар с кошелкой, от нее остаются только слезы.

— Но я все равно, Сойба, купил тебе за эти слезы подарок. Материю купил на платье. Будешь, как новенькая, когда ходили в кафе «Фанкони», на Екатерининской...

— Чтобы потом подышать свежим воздухом с Дюком на Приморском бульваре...

— И одеколон «Шипр» не забыл, тоже купил, чтобы ты пахла, как на свадьбе.

— Гинук! (Хватит! — идиш.) Я тебе не фаршированная рыба, чтобы пахнуть, как было у нас на свадьбе.

— Бабушка — не рыба! — подтвердил я, входя со своим неразлучным другом в комнату.

— К рыбе в гости я ни за что не пришел бы! — сказал, и опять мудро, Эдик Сумасшедший.— Утонуть можно.

Бабушка порылась в фартуке, вытащила металлическую коробку леденцов в сахарной пудре «Монпансье», которая была всегда при ней, и угостила Эдика, угостила меня. Не со своих пальцев, а так, чтобы каждый из нас взял по своему разумению, но без жадности, и не пихал в рот, как суслик, за обе щеки.

— Мы тоже не с пустыми руками,— сказал Эдик.— Финичка вам сварганил подарок, глаз не оторвать. Будет в самый раз по цвету к дедушкиному платью, даже если он белый.

— Не белый! Нержавеющая половинка моя, отнюдь, не невеста,— пошутил потомственный жестящик и протер прослезившиеся глаза, вспоминая давний день угасающего девятнадцатого века, когда за свадебным столом многочисленные гости кричали новобрачным «горько!».

— Не переживай, дедушка, за бабушку. Подумаешь, не невеста! Невесту я вам свою принес. Вот она — на фотке! — радостно доложил я, будто вернулся с оперативного задания с ворохом добытых военных тайн. И, нажав кнопку, раскрыл перед ним медальон.— Это для бабушки. На день рождения. Самый-самый женский подарок. Восемьдесят четыре года — не шутка.

— И тринадцать общих, слава Богу, детей...

— Ого! — восхищенно цокнул языком Эдик Сумасшедший и толкнул меня локтем в бок, мол, «знай наших!»

Дедушка близоруко сощурился, всматриваясь. И слезы на его глазах стали как-то крупнее, еще крупнее, и покатались по щекам.

— Сойба, смотри! — подозвал жену-старушку, почувствовавшую что-то неладное в его голосе.— Смотри! Смотри! Это же Сонечка...

— Какая Сонечка? — бабушка резко поднялась с табуретки, уронила коробку с конфетами, и полукруглые леденцы раскатились по полу, как заледеневшие слезинки.

— Сонечка Розенфельд, из твоей фамилии, что вышла за этого кузнеца-красавца Кравцова. Твоя племянница из местечка Ялтушкино.

— Но там всех убили,— еще не понимая до конца, что я принес весточку с того света, медленно прошептала бабушка.

Дедушка посмотрел на меня сквозь слезы.

Бабушка посмотрела на меня сквозь слезы.

— Откуда это у тебя?

Я не мог вразумительно ответить, меня тоже душили слезы.

Ответил Эдик Сумасшедший.

— От пленного фрица. Финичка — ему покушать, а тот ему — это...

— Убийца моих родных?

— Я не спрашивал,— Эдик Сумасшедший виновато посмотрел себе под ноги и, пятясь, вышел за дверь.

Ближе к вечеру, когда в бабушкиной комнате накрывали на стол, немцев повели под конвоем обратной дорогой: от гостиницы «Рига» на улицу Аудею, и дальше — к лагерю военнопленных.

Предоставленный сам себе, я сидел у раскрытого окна с взведенным револьвером 1917 года выпуска и высматривал в шаркающей по булыге колонне знакомую физиономию с утолщенным носом и морщинистым лбом. И не находил ее, будто она растворилась в сотне похожих, таких же невыразительных, но отнюдь не опасных на вид лиц.

И в этот момент кончилось мое детство.

Облокотившись на подоконник, я смотрел на бодро шагающих по улице моего детства гитлеровцев. Смотрел и думал о плачущей на кухне в день 84-летия бабушке Сойбе. Она родилась в 1870 году — в семье раввина Розенфельда, и жила в Ялтушкино под одной крышей с братьями и сестрами почти до конца 19 века, пока не вышла замуж и не переехала в Одессу. А ее племянники и племянницы, их дети и внуки никуда не переехали. Крышей их вечного дома стала сырая земля, не сохранившая для потомков ни имен, ни фамилий. Ничего не осталось, только память сердца.

Сырая земля, ни имен, ни фамилий, только память сердца...

Через несколько лет в книге Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» я прочитаю об ужасающих подробностях уничтожения фашистами местечка Ялтушкино, гибели его жителей, а среди них и родственников бабушки Сойбы. А ее родственники... это... и мои близкие...

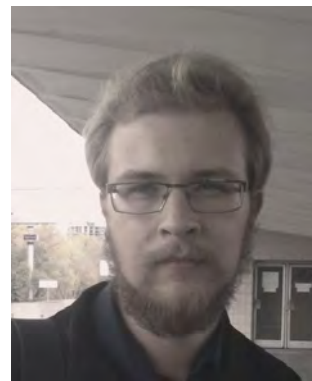
Илья Эренбург:

«Герой Советского Союза младший лейтенант Кравцов писал тестю о судьбе своей семьи, оставшейся в местечке Ялтушкино (Винницкая область):

«...20 августа 1942 года немцы вместе с другими забрали наших стариков и моих малых детей и всех убили. Они сэкономили пули, клали людей в четыре ряда, а потом стреляли, засыпали землей много живых. А маленьких детей, перед тем как их бросить в яму, разрывали на куски, так они убили и мою крохотную Нюсеньку. А других детей, и среди них мою Адусю, столкнули в яму и закидали землей. Две могилы, в них полторы тысячи убитых. Нет больше у меня никого...»



Святослав Егельский
(г. Киев, Украина)



ПУТЬ

Родился в 1995 г. в Макеевке Донецкой области. В настоящее время — студент композиторского факультета Национальной музыкальной академии Украины (Киев). Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Приокские зори».

Старый «ЛАЗ», натужно пыхтя, выползает с автостанции на дорогу. В открытое окно вместе с ветром, рвущим пропыленную занавеску, влетает горячий и жирный запах бензина. За окном бегут тополя с кронами, дрожащими переливчатым солнечным серебром, не спеша проползают приземистые двухэтажки цвета прошлогодней листвы, в их окнах дробится весеннее небо, а над крышами бурлят выпуклые многоярусные облака.

За ветхими оградами брошенных домов поселка бушует, скрывая развалины, одичавшая зелень, жилые дома все разные, но одинаково трогают своим бедным, скромным уютом.

Взлетаем на эстакаду — и вдруг открывается размытый, как от слез в глазах, горизонт с синими терриконами, сверкнет вдруг где-то в необозримой дали солнце, отраженное окном высотки, которую отсюда едва можно рассмотреть, одинокой искрой просияет плывущий к террикону купол, и когда ты подумаешь — за терриконом он или перед ним, горизонт оборвется и сплошной зеленой массой зарябит в глазах лесополоса.

Сразу за переездом дорога заметно хуже, автобус подскакивает на колдобинах, тяжело ухает в рытвины, и наконец преодолевает огромную, во всю ширину дороги, лужу — отраженное небо, вспениваясь облаками, пульсирует, толкается в бордюры, а от колес разлетаются крылья брызг с дрожащей на конце радугой...

А дальше — пасмурная окраина: виляние по одинаковым узким улочкам, от которого теряешь чувство пространства и забываешь, с какой стороны приехал и в какую сторону направляешься. Едем так медленно, что успеваешь рассмотреть и материчьи облупленностей на синей краске за дверями открытых подъездов, и густой, бородачатый мох под стенами домов, и корявые герани в окнах — и это ровно перемежается остановками, с каждой из которых из-под ржавых навесов в салон вливаются лица, лица, лица...

Те из них, которые мне запомнились, я иногда рисую карандашом... И рядом с прочими лицами — всегда *ее* лицо, которое мне — единственное из всех — почему-то не удастся...

Старшеклассники и студенты садятся сзади, на длинное, сплошное сидение, всегда теплое от двигателя под ним; девушки с чьих-то колен повизгивают на крутых поворотах и иногда вылетают из гогочущей массы в салон, к поручням с краской, стертой до отполированного железа...

Пенсионеры располагаются впереди, чтобы отстаивать свое право ехать, не войдя в число двух положенных льготников, или молча протянуть удостоверение, или поставить тележку поближе к выходу.

...Она всегда садилась странно, на единственное место, повернутое к окну спинкой — может быть, из-за близости его к выходу, или потому, что оттуда удобнее смотреть в лобовое стекло, или потому, что ей нравилось находиться на возвышении — сидение располагалось над колесом.

После нее я видел там рабочих коксохимического завода, шахтеров с черными веками, тонко обведенными въевшейся угольной пылью, рыночных торговков, которые сидели там или ставили туда огромные клеенчатые сумки, влюбленных, щебечущих и распираемых своим готовящимся или уже состоявшимся счастьем: девушки клали головы на плечи студентам с сосредоточенным на потолке взглядом — так же, как и тогда, давно — она — мне.

Как она вошла? Странно, но именно этого я не помню... Должно быть, она стояла под дырявым навесом, прячась от уже прошедшего дождя, а потом шагнула через лужу на ступеньку автобуса — шаркнули раздвижные двери, автобус тронулся и с бокового зеркала от тяжести впитанного солнца сорвалась бисеринка капли, сверкающая даль улицы, яснея и разрастаясь, поползла сквозь стекло, полукругло заезженное дворником — и она прошла по истертому до серости линолеуму, края заплаток которого чувствуешь под подошвой, и села рядом со мной на то, свое, место над колесом, и всего этого я не знаю, как не знаю, что было со мной до того, как я осознал себя в этом мире.

Я помню драгоценную тяжесть ее головы на своем плече, и свое радостное волнение, и страх, что на повороте она проснется...

Я не мог рассмотреть ее, боясь шевельнуться, но чувствовал нежный, тонкий запах ее волос и их щекотное прикосновение. Скосив глаза, я рассматривал ее руки, кружевные белые манжеты, выступающие из-под рукавов синего пиджачка, серебряное колечко без камня, серебристый лак ногтей, узкую белую ладонь, и ее запястье с выступающей сбоку косточкой.

Я вдруг понял, что не могу думать, в голове, вытеснив все мысли, разверзлась первозданная пустота. Зато особенно остро стали ощущаться звуки: скрежет переключения передач, шипение дверей, грохот, с которым кто-то открывал люк, ерзанье дворника по стеклу — все это могло прервать этот миг нашего случайного согласия, только она откроет глаза — и все исчезнет, оставив не больше следа, чем сам ее сон.

Сквозь мутное от солнца стекло я следил за тополями, отмерявшими наше время.

Она проснулась на последнем повороте перед конечной, как раз тогда, когда кончились тополя. Пригласила прическу — и несколько волосинок, выбившиеся из нее, оказались не русыми, а почему-то — золотистыми в солнечном свете. Поправила на груди тонкую золотую цепочку, уходящую за грань выреза. Сложила в замок руки с тонкими белыми пальцами. Как ни в чем не бывало стала смотреть в окно.

В голове застучало: нужно подать ей руку! Вдруг вспотели ладони, и я вытирал их о колени брюк, а потом, опередив ее у выхода, тревожно оглядывал остановку: не ждет ли кто ее, не ищет ли взглядом в проеме разъехавшихся дверей?

Еще я боялся, что в последний момент, на ступеньке, кто-нибудь окажется между нами.

Но вот двери разъехались, я спрыгнул на бордюр, и те секунды, пока она мешкала у двери, рассматривал ее, еще не понимая, насколько крепко это засядет в памяти: крупная родинка на шее, улыбка, проявившая морщинку в уголке рта, и то, как она жмурилась от солнца и ее ресницы почему-то казались мне золотистыми, и едва видимая голубая жилка на виске, и темно покрасневшие щеки, и пиджачок с золоти-

стыми пуговицами на спине, и черные бархатные туфельки с бантами — уже на последней ступеньке, перед дверями.

Я протянул ладонь, и, не успев засомневаться, ответит ли она, ощутил легкое, невесомое касание ее холодной руки.

Единственный раз, когда я слышал ее голос — это в этот миг — когда она сказала «Благодарю». Он был такой же легкий, невесомый, как ее рука, и я помню его до сих пор.

Жмурясь, я шел по солнечному бульвару и сдерживался, чтобы не перейти на бег. Из-под ног со свистящим хлопанием крыльев бросались голуби.

У нее были темно-зеленые глаза, и теперь ее взгляд чудился мне в кронах берез, на ветру и солнце переливающихся оттенками. Я останавливался, смотрел на даты и имена, угловато вырезанные на белой коре, и думал, где сейчас люди, нацарапавшие их, и оставят ли они на свете еще какой-нибудь след, и о том, почему я никогда не замечал раньше этих надписей.

На углу стояла старая, проржавевшая насквозь «Волга», и я вернулся...

— Пятьдесят,— сказал довольный таксист. Захлопнул дверцу: пивной живот под футболкой невнятного цвета почти вплотную уперся в руль.

Убегала под длинный капот дорога с искрящимися зернышками асфальта, совсем другой, незнакомой казалась улица, которую я видел семнадцать лет, каждый день, и только сегодня — впервые — сквозь лобовое стекло машины, и я, мысленно еще читающий надписи на коре, поражался себе: куда я еду? Зачем?

Явно довольный таксист, делая веские паузы, оправдывал свою цену, и в такт словам сжимал и разжимал сложенные в замок на руле красные, волосатые руки с желтыми ногтями и выцветшими до серости татуировками. Сквозь голубиную отметину на истертом дворником стекле наплывал на меня незнакомый, преображенный мир.

Когда мы приехали, я не мог найти ручку двери; таксист, сурово сопя, потянулся помогать мне.

Зачем я проехал эти два квартала и ходил дворами, будто искал, пытался почувствовать ее следы? Я вглядывался в окна пятиэтажек, непрозрачные от отражений крон и неба, и гадал — из какого окна она сейчас меня видит и видит ли?

Еще чувствуя приятную прохладу ее руки, нежное прикосновение волос, ее голову на своем плече, я уже не знал, не мог предположить, где она, и это какой-то странной тяжестью легло на душу: бушевали на ветру кроны, солнце до боли в глазах полыхало в весеннем мире, воздух сочился обнадеживающим и зовущим куда-то запахом прошедшего дождя, и во всем этом мучительно не хватало чего-то, будто я был в разлуке с кем-то очень родным.

Из-за этого же чувства я в середине ночи пробрался в кухню: зажег огарок свечи и, глядя на двойное отражение его пламени в стеклах, пытался писать стихи.

Огонек дрожал под открытой форточкой, по стенам и потолку в фантастическом танце скакали тени, кроны во дворе, покрытые темным лунным серебром, могуче ворочались на ветру, и чье-то голубое окно, одиноко прорезая ночь, светило напротив.

*В отдушине гудит застрявший ветер,
А выбравшись — приоткрывает дверь...*

Свеча кадила, напоминая детство, и радость, когда вдруг не было электричества... Воцарялся таинственный свет керосиновой лампы, в стеклянном колпаке дрожал лепесток огня — голубой внутри, а по краям желтый; иногда гасли фонари и окна напротив — тогда особенно ясно над потухшими домами виделись звезды; и почему-то хотелось говорить шепотом.

*И тихий скрип... ни звука во всем свете...
Ни звука в сонной, крепкой синеве.*

*Пройду и я, пройдут и эти ночи —
Как свет погасших утром фонарей,
Рассыпанных в цепочках многоточий,
На горизонте, в парке, во дворе.*

Вот эта керосинка, стоит в кладовке, и вот эти звезды над темными крышами, и вот трепещущий от дуновения ветра голубовато-желтый язычок пламени — но это другая ночь, другая потому, что в ней не хватает того меня, каким я был десять лет назад. А теперь не хватает и ее, хотя еще утром я даже не подозревал о ее бытности в этом мире.

...Мы встретились взглядами, она узнала меня, на губах дрогнула улыбка. Я попытался улыбнуться в ответ, но так неуклюже, что у нее появились ямочки на щеках, и она отвернулась к окну, делая вид, что смотрит.

Потом я снова поймал ее смеющийся взгляд, очень упрямый — она как бы предлагала мне игру: кто первым отведет глаза; и мы смотрели друг на друга так долго, что почти целый квартал, как вечность, проплыл где-то на краю зрения, а когда замелькали тополя с серыми от прошлогодней извести стволами, она откинула голову назад, будто бы для того, чтобы заколоть волосы на затылке.

Я рассматривал ее маленькие руки, едва видимые под тонкой, нежной кожей узоры вен, синий след от ручки и недавнюю кошачью царапину на запястье, потемневшее серебряное колечко с выпавшим камнем, и она, смутившись, сжала кулачки и спрятала их в рукава, как будто ей было холодно. В ответ на это я расстегнул воротник рубашки и вытер воображаемый пот со лба.

И я почувствовал, что какая-то невидимая граница отделила нас от остальных едущих в автобусе, потому что мы были уже вместе, соединенные ощущением общей тайны: что нечто большее связывает нас, чем путь в одном направлении.

...Нужно заговорить с ней. Но о чем? Я знал, что и она сейчас должна прийти к чувству этой общей тайны, знал и то, что она пытается угадать, заговорю ли я с ней или наш диалог останется немым.

Спросить, как ее зовут или наоборот, сказать ей свое имя — после всего, что мы уже сказали друг другу — казалось глупым; до какой остановки едет — еще хуже, тем более, что она уже знала о том, что я знаю это; попытаться сделать ей какой-нибудь комплимент — но разве я уже не сказал ей, какая она — тем, как ее рассматривал?

Да и потом: говорить ей «ты» или «вы»? Сколько ей лет? Когда она смотрит прямо на меня, мне кажется, что она примерно моего возраста, в профиль — когда поворачивается к лобовому стеклу — она гораздо старше, и настолько серьезная и чужая, что я даже сомневаюсь, решусь ли заговорить с ней.

Тополя за окном отмеряли секунды и метры, кончились брошенные дачи с темными провалами окон и перекошенными к дороге заостренными досками заборов, проплыло серое и громоздкое здание поликлиники, промелькнули цветущие клены бульвара, пятиэтажки, оборвавшие их, и — последний поворот, за которым — конечная остановка.

Не взглянув на меня, она пробилась к двери, у которой уже стояли человек пять, и в этот день я, замешкавшись, руки ей не подал.

Первая мысль была — заговорить с ней, или хотя бы незаметно пойти следом, но она оглянулась на меня, делая это невозможным.

Я стоял и смотрел, как она уходит.

Следующие дни были душны от жары и ненужности всего, что происходило без ее участия — там, куда я каждое утро ездил, в темных коридорах, гудя, мертво горели лампы дневного света, за открытыми форточками, в которые плыла майская жара, плавилась и трепетали зеленые свечи тополей, пахло пылью и краской затеянного ремонта, а вечером раскаленный белый ЛАЗ с красной полосой на боку среди множества самых разнообразных пассажиров увозил домой и меня.

Надо написать ей письмо... И отдать при встрече — осенило меня в одну из ночей, и я сидел с листом бумаги у темного окна, и там же застал меня рассвет, и с рассветом ничто не нарушило белизну листа...

Был еще третий раз, и ее отец: седоватые волосы до плеч, лицо, изузоренное морщинами и пронзительный взгляд, под которым почему-то хотелось сжаться. Отсветы фонарей плыли по их лицам, неожиданно высвечивая уже знакомые мне черты; она прикрыла глаза и кивнула мне как старому знакомому. Из неплотно закрытого люка срывались капли. За стеной дождя сменялись желтые, коричневые, серые дома. На остановках толкали со всех сторон, отгесняя от нее. Выходили, вжимали головы в плечи, пока возились с зонтами, которые потом взрывались над тротуарами, превращаясь в темно блестящие купола.

Она исподлобья смотрела на меня, потом опускала глаза, вертела на пальце свое серебряное колечко, и тень улыбки угадывалась в уголках рта. Мокрые волосы прилипли к белому лбу.

Я пытался понять по губам, о чем они говорят, ее голоса я не слышал, но сквозь гул мотора вместо него чудилась какая-то мелодия, поющий с закрытым ртом хор.

Пусть случится огромная пробка на нашей пустой дороге, или сломается автобус и мы будем долго стоять между остановками...

По стеклам прозрачными строчками стекал дождь. Окна и фонари, размытые им, плыли в даль мокрого проспекта, брызги из-под колес дробно стучали в бока автобуса. Мир по вечернему выцвел до черно-белого, крыши наливались темным зеркальным блеском.

Перед тем, как выходить, она взглянула сначала на меня, у входа опередившего ее, потом назад, на отца, уже заслонившего свет проема, и, освобождая для меня правую руку, надела сумочку на плечо.

За ее спиной уже появилось лицо отца, и, вместо того, чтоб подать ей руку, я за чем-то отступил на шаг, в лужу...

...Потом я заговливал фразы и часто, часто видел ее в других — в склоненной русой головке, в мимолетном касании холодной руки, в нечаянно пойманной улыбке, адресованной не мне — сердце вздрагивало в предчувствии и падало, когда я понимал, что обманут случайной приметой.

Как-то незаметно надвинулись долгие, уже осенние вечера, и, когда я возвращался, встающие из-за горизонта трубы завода уже не чернели над закатом, а терялись в звездном кружевном небе. А потом звезды под тяжестью плывущих зданий крошились с хрустом льда под колесами автобуса, а между остановками в лужице под прожавленной водосточной трубой мокнул потолок чьей-то кухни.

Я искал ее взглядом, протирал запотевшее окно, всматривался в силуэты, выступающие из дождя, или тумана, или снегопада, в белые или красные лица, скрытые поднятыми воротниками пальто, или капюшонами, или шапками, шарфами, натянутыми до глаз... Эти долгие возвращения без нее я не делил на дни, они сливались для меня в одну нескончаемую дорогу.

Я помню один из тех вечеров. Хлесткий, ледяной ливень хлынул на город; потом — тонкие ветки вздрагивали от падающих с них капель, а в каплях — вогнутый

мир: черные стволы деревьев, белое, наэлектризованное небо, и уменьшенное во сто крат закатное солнце...

Улицы заплыли дремотной, туманной серостью, мокрая земля пахла весной, среди осени — такой обнадеживающий и зовущий куда-то запах. Над домами и верхушками тополей — прозрачное, легкое небо, до предела натянутая розовая гладь. Струнами пересекали ее провода, протянувшиеся между крышами домов, и от контраста темных крыш и еще по-дневному яркого неба даже начали болеть глаза.

И я вдруг понял, что уже полгода не видел ее и вряд ли теперь увижу.

В кленах аллеи, по которой я полгода назад шел под ее взглядом, полыхала осень. По дворам бродили старики в бесформенных пальто.

На клумбе с жухлой травой проехавшая машина оставила борозды — глубокие, затопленные расплавленным закатом. Она стояла там же, в ста шагах — та самая «Волга», легкое и холодное небо стертой голубизной лежало на мокром капоте, эмблемой октября прилип к лобовому стеклу кленовый лист.

В ту последнюю нашу встречу тоже был острый, секущий дождь, и, уходя с отцом, она через плечо, из-под зонта — улыбнулась мне — почему-то я подумал, что укоризненно. Их пестрый зонт долго маячил над головами мокрых прохожих, пока не исчез в мелькании неоновых вывесок магазинов.

Я не пошел за ней, а, весь мокрый, бродил дворами. Крупные, лучистые звезды отраженных фонарей плыли в стеклах припаркованных в лужи автомобилей, низкие ветви, если я задевал их, бросали капли в лицо и за воротник, и все яснее выделялись в густеющей темноте нездоровой желтизной окна.

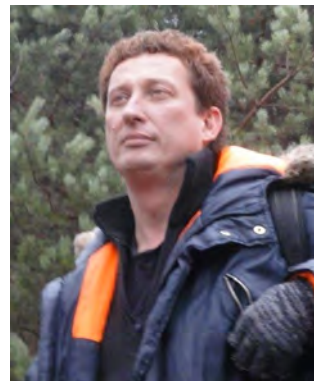
А ночью я не спал, как все влюбленные и счастливые, я пробрался на кухню — зажег огарок свечи в граненом стакане с крупной серой солью, и на полях найденной газеты писал стихи — почему-то об осени — в ту пору осенью меня всегда тянуло писать о весне, и наоборот.

Держак ковша Медведицы лежал прямо на крыше дома напротив. Вздрагивали в прорехах облаков острые бирюзовые звезды. Венера, глубоко вдавленная в небо, источала звонкий, хрустальный свет, видимый даже сквозь тонкую ткань занавески. На стекле гигантскими щупальцами шевелились — медленно, как в воде — многократно увеличенные тени ветвей.

И звал куда-то далекий гул товарняка, заставляя вспомнить, что там дальше, за этими домами — лунная дорожка дрожит на поверхности ставка, и резко очерчиваются в ее свете черные камыши, и небо над полями отодвинулось еще выше, чем было днем, по краям — прозрачно-синее, выше — матово-фиолетовое, а совсем в вышине, за луной в радужном нимбе — непроглядно-черное, плотное, уже без звезд; опоры линий электропередач, как застывшие скелеты великанов, сторожат поселок; на горизонте дымит осыпанный золотом и бирюзой завод; ветер, шуршит, носится в траве, поднимая серебряные волны, перегоняя их через все поле, из края в край... Это было давно, почти десять лет назад.



Владимир Шамов
(г. Кострома)



ДОРОГОЙ, Я ВСЕ ТАК ЖЕ КРАСИВА?

Окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности инженер-строитель.

Публиковался в журналах «Новая литература», «Альтернативная литература», альманахе «Костромской собеседник», детском альманахе «Здравствуй, дружок».

Автор книг: «Чертова трилогия», Аннушка. Легенда о черном сердце», «Места силы Костромской области», сборник рассказов «Случайные люди». Сочиняет песни, занимается сакральным краеведением.

Я равнодушен к осени, а вот она просто влюблена в меня. Угождая ее предсмертной эйфории, я слоняюсь по паркам в поисках вдохновения. Ну что ей нужно от моего сознания? Вон сколько людей медитирует на скамейках — их души засыпают, готовясь проснуться лишь к Рождеству. Все эти болезненные краски осенней природы, призванные радовать, с каждым днем все больше вгоняют в душевный ступор. Такое чувство, что если в один из выходных ты не посидишь на скамье необходимые тридцать минут, размышляя о прожитых годах и проектируя грядущее, не выполнишь этот странный осенний обряд, то будущее просто не наступит. И ты поперхнешься первым снегом, поняв, что месяц назад не успел запланировать радость по поводу искрящегося белоснежного покрывала. И теперь не успеть, потому что скамейки уже убрали из парка.

В один из таких дней, когда грустные отрешенные людские существа уже заняли все сакральные скамейки, я подсел к импозантной паре лет пятидесяти. В мои планы входили размышления о неосуществленной многолетней мечте — стать рок-звездой, но воркование влюбленных вывело меня из оцепенения:

— Дорогой, я все так же красива?

— Я только что собирался сказать тебе об этом.

— Но ведь я уже не та — морщинки... и не так стройна, как в молодости?

— Дорогая, возможно, кого-то они и портят, но только не тебя!

Так продолжалось несколько минут, и я подумал, что нет ничего потешнее и восхитительнее влюбленных, находящихся на пороге старости. Я мог бы и дальше цитировать наших «Ромео и Джульетту» или описывать события затяжного осеннего дня, если бы в этом был смысл. Скажу лишь, что пара эта осталась у меня в памяти.

Прошло несколько лет и в один из таких же, наполненных прозрачной пустотой дней я отправился на могилу моего погибшего друга. Давно не был, кладбище разрослось — появились новые ряды захоронений и новые аллеи, но могилу я нашел. Положил яблоко, второе съел сам, постоял... как-нибудь обязательно расскажу печальную историю моего друга.

Возвращаясь назад, вдруг остановился — боковым зрением я уловил два знакомых портрета! Это были могилы тех самых влюбленных, обнесенные одной свежескрашенной оградкой! Присмотрелся к датам — она пережила его всего на несколько месяцев! Мне стало очень печально, но как-то по-особенному, и даже немного страшно — какая-то мистика проникла в сознание.

Мое оцепенение прервал женский голос: «Вы знали моих родителей?».

Обернувшись, я увидел молодую женщину, одетую в черный кривой снизу пуховик и синюю вязаную шапку, оформленную бусинами. «Я как-то столкнулся с ними совершенно случайно, и они мне показались особенными», — ответил я.

— Конечно, они были особенные, как бы я хотела быть такой, как они!

К выходу из города мертвых мы шли вместе, и моя спутница поведала их историю. Оказывается, ее отец заболел раком и боролся за жизнь до последнего, а мать, как могла, поддерживала его и не смогла долго жить, когда умер муж. Мы сели на скамейку, и молодая женщина в бусинах достала из сумочки предсмертный дневник отца, вот что там было написано.

«Человек не осознавший, сколько ему отведено жизнью, какой конкретный срок отмерен — не умеет радоваться простым вещам, а между тем, они прекрасны!

Заправляешь свою старенькую машину, и вдруг холодный, наполненный искорками снега зимний ветерок дует тебе в лицо, прокрадываясь за шиворот. Ты ежишься и чувствуешь, что это приятно — ощущать кожей мир вокруг тебя.

Или, к примеру, работал плотно целую неделю, и вот наконец выходные. И ты понимаешь, что скоро будет нечто приятное — ужин не на ходу, вечерняя дрема, переходящая в глубокий сон, а утром ты проснешься встревоженный и постепенно осознаешь — сегодня куда не нужно! И вот снова — приятные ощущения.

Или когда осознаешь, что тебе повезло с женой, что в этом мире есть человек, которому ты действительно нужен, и он готов бороться за тебя пока есть силы! Это удивительно!

Или... когда ты стонешь сквозь зубы от боли, когда вокруг меркнет свет, а твои глаза наполняют сумерки, и ты хочешь одного, чтобы поскорее все закончилось. И тут тебе ставят укол обезболивающего, и с каждой минутой вокруг становится все светлее, боль отступает, оставляя какое-то странное послевкусие, как будто здесь, в тебе, что-то лежало, но это что-то унесли, и остался лишь след на песке. Тебе уже наивно кажется, что боль никогда не вернется, и ты спокойно ложишься на кровать с мыслью, что теперь все будет хорошо. Потому что несколько часов без боли могут превратиться в вечность, выделенную тебе специальным образом, как перерыв между кошмарами. Вообще время относительно и бежит с разной скоростью в зависимости от обстоятельств. И осознание конечности твоей жизни воспринимается при разных обстоятельствах тоже по-разному.

Когда ты узнаешь, что врачи, скорее всего, ничего не смогут сделать — очень глубокие метастазы, поражены многие органы, и тебе осталось... два года. Да, собственно, гораздо меньше, поскольку жизнь на обезболивающих — уже не жизнь. Тебе предлагают надежду в виде химиотерапии, иммунотерапии, гормональной терапии, на прямые вопросы отводят взгляд. Ты выходишь на воздух, и вот наступает осознание того самого конца!

Знаете, в чем ирония? С одной стороны мы все знаем, что когда-нибудь умрем, но никто из нас этого не осознает. Знает, но не осознает! Да, в любой день мы можем погибнуть от несчастного случая, но не впадаем в депрессию по этому поводу. Мир рушится лишь от слова РАК — Как?! У меня?! Разве такое может быть?! И вот наступают дни, когда ничего не нужно. Наверное, такие же ощущения испытывают приговоренные к смертной казни. Наверное, не знаю.

И теперь, когда ты просыпаешься утром, понимаешь, что тебе не встать — тяжесть осознания чего-то ужасного выпила из тебя все соки, и ты превратился в робота. Некоторые люди порой думают: «Если бы я узнал, что мне осталось жить год, уж я бы оторвался!». Нет, поверьте, для этого у вас не будет никакого стимула, только бесконечный ступор, как будто жизнь уже покинула вас...»

Я заглянул дальше, но читать не смог — слишком тяжелые вещи были описаны в дневнике.

Мы попрощались с женщиной в бусинах, даже обнялись по-братски. Видно было, что боль утраты еще терзает ее душу и не скоро отпустит. Конечно, это все равно случится — и тогда она посмотрит в небо и увидит всю его бесконечную красоту, и почувствует: отпустило... будем жить.

Что сказать... в жизни многих людей случаются страшные события, которые меняют душу, заставляют по-другому относиться к жизни, окружающим тебя людям и явлениям, но готовы ли мы к таким событиям? Как же хорошо быть здоровым! Как замечательно, что сейчас... все хорошо!

Я сел в автомобиль и включил радио. Заиграла старая, набившая оскомину, песня. «Боже, как она на самом деле прекрасна! — подумал я.— И как только люди научились придумывать такую музыку?!» Во время движения я приоткрыл окно, чтобы ощутить кожей движение встречного ветра. Жизнь удивительна даже в мелочах!

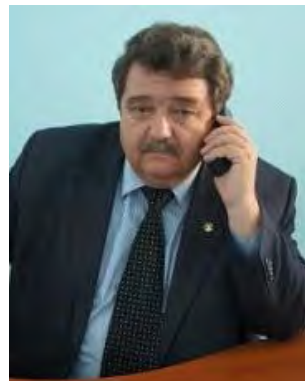
Я вернулся домой, моя супруга колдовала у плиты, стараясь приготовить для меня очередной кулинарный шедевр. Бережно и с теплотой в сердце я обнял ее. Маша повернулась:

— Дорогой, я все так же красива?

— Я только что собирался сказать тебе об этом.



Владимир Герасимов
(г. Тюмень)



ТЫ ПРАВ, СОЛДАТ

Коренной сибиряк. Родился в Омской области. Возглавляет коммерческую службу региональной зерновой компании. Пишет сравнительно недавно. Издано семь литературно-поэтических сборников. Лауреат многих конкурсов разного уровня. В номинации «Поэзия» вошел в число победителей Второго Всероссийского литературного конкурса «Солдаты Великой Победы 2016». Лауреат премии имени В. И. Муравленко.

Давненько уже не встречал Григорий Назаров утро раннее в отчем краю, не любовался красотой восходов и закатов над озером родным и дальними лесами. Раньше он всегда сожалел, что нет в их местах соловьев, что не просыпался он в детстве и юности под их задушевные трели. Сколько себя помнит, просыпался он тогда под скрип калиток и ворот, под мычание проходящего по улице стада и резкий звук пастушьего кнута, да под песни свежего утреннего ветра. Вот это он знал и помнил хорошо. А соловьев довелось вдоволь наслушаться потом, в других местах.

Как перекасти-поле подхватил его однажды ветер судьбы-жизни из края родимого и понес по стране огромной, необъятной. Сначала армия, потом учеба. А дальше — севера, которые затянули Григория так, что застрял Назаров в краях студеных на долгие сорок лет.

А сейчас — законная пенсия. И он, после долгих лет разлуки, вырвавшись надолго домой, снова дышит утренней прохладой и любитесь неброской красотой родной природы. Наполняет душу и сердце тем простым очарованием, которого был лишен долгие годы.

Вот он идет не спеша по тропинке узеньким переулочком к родному озеру. Вокруг все те же заборы, что были десятки лет назад. Только почернели они, покосило их время. Да, все имеет свойство стариться, дряхлеть. Таков закон жизни. Сегодня на берегу его ждет старая отцовская деревянная, но еще добротная лодка. Племянник вчера настойчиво предлагал отвезти Григория на новый котлован, взорванный несколько лет назад в болоте у озера Долгова. Там, по его рассказам, с берега неплохо ловился окунь и приличные карпики, запущенные специально для населения местными предпринимателями прошлой весной. Григорий наотрез отказался, сказав, что в следующий раз посетит это рыбное «эльдorado» непременно. Он стремился именно сюда, на это озеро. Ему хотелось уплыть на лодке на свои заветные места, побыть именно здесь наедине с собой, со своим прошлым, с памятью. Уж очень хотелось ему половить карасей. Ведь в свое время это были не караси, это были карасищи, до килограмма и более. Он хорошо помнит, как лишался с друзьями дефицитных крючков, сколько нервов стоило тогда вываживание каждого обитателя этих глубин. К рыбалке Григорий подготовился основательно. Были и черви, и различная привада. На удочках стояла серьезная германская леска, достаточно было крючков и грузил. И от предвкушения доброй рыбалки на душе у него было легко и он заспешил к озеру.

Подходя к берегу, сквозь редяющий туман, он увидел, что здесь не первый. На берегу уже стояла, запряженная в легкую телегу, справная лошадка. Она была привязана длинной вожжиной к металлической скобе на мостике, что уходил в озеро. Вдоль мостика виднелся ряд лодок. Лошадка мирно уплетала свежескошенную траву, что лежала перед ней, и терпеливо ждала своего хозяина. Рядом курился слабенький дымок из сухих коровьих лепешек, которых было предостаточно на берегу всегда. Облегченную удобную телегу Григорий признал сразу, таких телег больше ни у кого нет, она одна. И принадлежала она заядлому рыбаку, старому солдату, пришедшему с фронта без ноги, на протезе, дяде Саше. Александру Петровичу Кулагину, а в народе по-простому Петровичу, или Сане Кулибину. Так уважительно звали все сельчане бывшего солдата за его золотые руки, прямоту и бескорыстность. И у Григория стало радостно на душе. «Жив, значит, старый солдат. Жив, табачная душа. Вот молодец!» Ведь это дядя Саша, в далеком детстве, приучал его и его друзей к рыбалке на этом озере. Учил, где и как ставить сети, фитили, да и другим тонкостям. И он очень обрадовался, что снова встретит этого замечательного человека. В рваном тумане показалась деревянная лодка. Видно, что рыбак не спешил. Греб одним веслом размеренно, направляя ее на мостки. Когда лодка ткнулась в мостки между двух лодок, Григорий был уже наготове, сразу взял из лодки цепь, стал ее натягивать и пропускать через скобу. Рыбак на протезе в лодке не спешил подниматься, а пристально разглядывал человека на мостике. В лодке у старика трепыхались десятка два приличных карасей, при виде которых у Григория заволновалось сердце.

— Здравствуй, дядя Саша! — радостно поздоровался с рыбаком Назаров. — Здравствуй, Петрович дорогой! — еще более эмоционально продолжил он. — Тебе помочь?

— Погодь малость, дай отдышусь, — ответил старик и снова стал пристально осматривать неожиданного помощника. — Здравствуй, мил человек. Вижу, рад встрече. Звняюсь, старый стал, худо вижу, не признаю. Видно, наш по обличью, а не признаю. Дак, чьих будешь-то?

— Григорий я, дядя Саша. Григорий Назаров. Ульяны Масловой внук. Ты меня еще рыбачить учил здесь сетями, — торопясь, стал объяснять разволнованный Назаров.

— Вона как! Гришка значить? Стало быть Полины заводской сын, а Ульки-солдатки внук, — тоже обрадованно произнес старик. — А тебя, милоч, тожа не признавать. Седой стал, штаны, вон, на помочах. Так-то что, не держатся? Ну да, поотрастили мамоны-то. Оно и понятно, в городах-то при жизни сладкой, да без движений, оно и растет как на доброй опаре, брюхо-то.

Старик ненадолго замолчал.

— А с помочами, дед, удобнее, — ответил, как бы оправдываясь, Григорий.

— А ну-ка, землячок, подмогни старику, — шутя скомандовал дед.

Назаров осторожно ступил в качающую лодку, помог подняться Петровичу и выйти на мостки.

— Пойди передом. Давай присядем вон на ту лодчонку перевернутую, — тихо сказал Кулагин. Григорий пошел по шатким широким мосткам, слыша, как сзади, тяжело дыша, идет, стуча протезом, старый солдат. — Ну вот, тут и посидим. Посидим-полюбезничаем, как бывалочи, — сказал старик, тяжело опустившись на лодку. — Ну что, покурим? — тихо спросил Александр Петрович. Али бросил?

— Да нет, все пытаюсь, — ответил Назаров. Он достал сигареты и предложил старому рыбаку.

— Не, милоч, у меня свое, бронебойное курево, — улыбаясь, сказал Петрович и стал крутить «козью ножку». Закурили. Некоторое время сидели молча, потом Петрович положил свою жилистую, но уже довольно сухонькую руку на колено соседа и сказал: — А я вот, Гриша, все копчу небо. А ведь нонча в ноябрьские девяносто

стукнет.— Вот видишь, хоть и безногий, а кручусь еще. Польза от меня значить обшеству пока есть. Рыбкой вот живу. Опять же грибы, ягоды, да по мелочи — лужу, паяю, метелки, лопаты делаю. Да ты, знашь, и пенсия, грех обижаться, дивная. Даже поболее, чем зарплата у наших некоторых. Что скажешь, не обижат государство-то. Вот, даже внукам-правнукам помогаю, а то как,— с явной гордостью закончил старик. Опять помолчали. Вздохнув, Кулагин снова продолжил: — Да, така вот картина. А дружки-то мои, с кем деревья вон там за озером перед войной садили, с кем потом работал-бразничал, все уже поприбрались. Кто по Европам где-то лежит, а кто там, на родном погосте пригрелся. Да что говорить, и прочий народец тоже ушел на свиданку с Отцом нашим. Бабка вот твоя, однако, хорошо пожила, она много старше меня была. А вот матушка твоя, Полина, мало погостила на свете этом, рано прибралась,— и дед опять замолчал.— Ну ладно, что я однако все о себе, да о мрачном,— начал опять Петрович.— Поведай, как и что у тебя? Каким курсом сейчас идешь? Каки гавани обживашь?

Григорий не торопясь, обстоятельно, поведал старику о жизни своей на северах, о работе на буровых, о пенсии.

— Знаю, что герой! Орденами-медалями заслуженно награжден. Не посрамил землю родну. Там, вишь, пригодился. Это ладно. А все, однако, не шибко лежит у меня душа к брату вашему.— И он опять замолчал, словно собирался с мыслями и духом.— Ты, Гриня, на меня сильно только не сердчай, я правду тебе скажу, как понимает сердце мое, так и скажу. А она ведь не мед, не рубль советский, чтобы ее всем любить. Вот знаю распрекрасно, что без вашего брата нельзя жить стране. Нельзя, всем понятно. А вот не особо уважаю летунов-перелетчиков, а как же подрутому-то вас звать-величать? Ведь улетели, как только на крыло встали. По стройкам, по северам. За рублем длинным погнались, будь он неладен. Романтики им, вишь, захотелось! Туманов в краях родных не хватило. А землю-то матушку пошто бросили? Знаю, може и не вы совсем виноваты в том, что сегодня на Поповом бугре, да в Займище на полях наших, ничего, кроме бурьяна, не растет, да козы скачут. Знаю, начальники местные на разор деревню пустили. Обидно, боль гложет нестерпимо, вот и виню всех,— и старый труженик опять ненадолго замолчал.— Это я с тобой говорю так по-доброму,— снова тихо начал Петрович.— А потому, что уважаю родоу вашу! И деда твоего, Анатолия Петровича, что тоже старше меня был, и дядьку Василия, что не вернулся, и гармониста Михаила, годка моего, что возвернулся израненным. В одном эшелоне в сорок третьем добирались мы под Смоленск. Ох и жарко там было. Много кровушки пролилось, но дали мы тогда осенью там супостату. Только я вот из наших оттуда и вернулся. Мишаня-то в другом месте выкуривал вражину. А ребятки-то наши сибирски, там и остались. Вот герои были. Не попятились, не побежали. Ведь пересилили мы тогда фашиста, вперед пошли, хорошо пошли, твердо!

И дед опять ненадолго замолчал. Стал трясущимися руками скручивать сигарку. Закурив, он еще какое-то время молчал, потом снова заговорил:

— Бабку вот твою помню и уважаю. В войну жилы вытянула и до послета работала. Матушку твою уважаю и помню за то, что как с восьми лет в войну стала работать, и тоже до конца отстояла вахту свою. Мишку вот еще нашего уважаю, Михаила Васильевича Костина, что председателем теперь, али глава фермерский, разбери попробуй должности нонешни. Не дал ведь мужик пропасть совсем хозяйству доброму и деревне. Не допустил погибели окончательной. Скотинку вот сохранил, площадь опять же посевные. Пусть не все, но сохранил. Колгатится ведь народ-то: сеет, пашет... молоко, мясо опять же производит. А живет земля и хозяйство — смотри и все живет. Вон, детишки рождаются, школа робит. Смех на деревне, вечерами парочки гуляют. А песни, Гришаня, каки песни поют! Душевно, забористо, как и раньше. Живет значить деревня, живет! Во как! Да, вот его уважаю, Васильевича. Команду его

уважаю, что не разбежалась. Не потянулась караваном в края дальние. Впряглись и тянут вместе лямку. Тяжело им, но тянут. Страну, народ кормят своим, натуральным продуктом,— Петрович зашелся в кашле, а откашлявшись, стал тихо продолжать дальше: — А вот возьми, что вокруг творится. Ведь у соседей-то, что Мамай прошел. На полях-то уже добрый подлесок надурил, народ грибы собирает. А по селам-то чисто ураган-смерча по пьяне прогулялся. Дома глазами пустыми на мир жалосливо смотрят. Ни трактора тебе, ни машины не гудят, не бегают как прежде, смеха детского не слышно. Да разве мыслимо такое дело! А народ пьет, да вымирает! А главное-то, милок, ни души, ни совести у многих не стало. Воруют, и частно, и государево, и фермерско... Разве это порядок? Когда тако было? Вот меня все внук старший убеждает, что, мол, на правильны рельсы страна встала. Программы такие, по этим программам и движемся к светлому будущему. Говорит, опять же, отсталый я. И еще слово како-то не наше. А, вот, что я рудимент. А они вскоре жить будут по-новому. А тут как посмотреть, милок, ведь мы тоже не вчера родились, кое-что кумекам. Вот он говорит, программа была специальна. Погодь, вспомню, запомятовал. А, при-ва-ти-за-ция. Во как! И не выговоришь на трезву-то голову. Точно, обнаковенно, едрена вошь, прихватизация! Это ведь Чубайсы-Гайдары, вампиры народны, под себя и дружков своих специально все придумали. Программы-то эти шибко хитро-мудры. А народ-то считает, что это гольно воровство. А то как? Тут ведь хоть как крути, чисто воровство, только дюже хитрое, словами замаслено, понимаешь. И не спорь со мной, не возражай, милок! Дальше смотри. Что раньше начальник какой не воровал? Было дело и вокруг. Дак это мелочи были, по сравнению с таперишним-то. Ну, машинешку каку, квартирку там втихаря получит, ну ковришку али стенку импортну без очереди умыкнет. И все! И то, брат ты мой, пужались: а ну как народ разузнат! И стыдились, поди, совесть кака-то была. А ты, Гриша, не лыбся, наши тогда меру знали, да и укорот все одно был. Опять же — партия. Пуще отца родного боялись. Это сейчас все на коммунистов валят. Понадоставали откуда-то дерьма всякого, и льют, кому не лень. А тогда как говорили: совесть, и что там еще, тоже запомятовал? А, вот, совесть и честь, однако. Как у солдата! И не просто писали лозунги всяки, а все одно сполняли заповеди свои, словно Христовы! И правильно было! А таперь что получается? Вот, смотри, заводы, рудники, промыслы разны, фабрики опять же, даже леса-угодыя добры, все к рукам прибрали. И, говорят, законно! Хозяева, говорят, мы. Наше это все таперича. А откель хозяева-то эти взялись? Ведь вроде с семнадцатого года народно, все общее было. Не стало хозяев-то. Горбом все это наживали, народ жилы вытянул, а ведь построил, поднял отчизну-то. В космос прямо поднял! А таперь говорят: все по закону! Да что это за закон такой народно-то добро по карманам распихали. А то ведь и еще хуже — басурманам продали. Опять же спрашиваю: что это за закон такой, во дворцах-палатах двоим-троим проживать, с бассейнами и прочее. А для старушки, у которой сыновья полегли на войне, хаты приличной с нужником теплым сыскать власти не в силах?! Я, конечно, Гриня, не тебя виню. Вы что, так шестеренки-винтики, мелочевка. Все на побегушках у богатеев-алигархов таперь. Понимаю — жить надо! Но ведь вы допустили их к власти, вы смолчали, когда они отцовы-дедовы завоевания потащили по карманам. Что, не ведали, не понимали, чем все кончится? А ведь смышленные все, грамотные. Образование бесплатно народ всем дал. Куда смотрели? Сами-то чего хотели? Воздуха свободы захотели? Как та сейчас пишут — задыхаться стали от режима. От какого режима? От народного-то? А вот я тебя спрошу, а сейчас что? Дерьмократия! Вот что сейчас. Все заболтали, везде говоруны! Шпарят как по-писаному. Что шаманы твои по ящику чешут, заслушаешься. Думаешь, вот как хорошо, вот как ладно, ну прямо коммунизм пришел. А как в магазин пойдешь — жизнь моя копеечка! А далее-то как жить, милок? Почему на торгашей этих нету в государстве укороту? Почему цены задирают под самое-самое, как иная бабенка пьяная юбку свою? Тогда опять спрошу, кому коммунизм насту-

пил? Хоть бы к народу прислушались! Вот раньше, завсегда секретарь райкома, другие чины районны, а то и обласные приезжали, с народом толковали. Все обстоятельно говорили, что почем и куда движемся в сей момент. Про линию рассказывали. И мы ее видели, линию-то. А сейчас кого видим? Только как машины круты в охоту-годья туда-сюда шастают, глаза мазолят, да народ лишний раз зудят.

И дед замолчал, на этот раз его молчание длилось дольше и висело тягостной тишиной.

— Ладно, Гришаня, заговорил я тебя, болтал, что твой оратор. И так наговорил на всю катушку. А поверь, болит душа. Знашь, как выговорится хочется. Давно вот ни с кем про это не говорил. Что-то стал держать все в себе на старости, а с тобой можно, ты свой, работяга. А в себе, милоч, ничего нельзя держать,— сгоришь сразу, обнаковенно сгоришь, не сдюжит мотор-то! Вот возьми, для примера, бабу. Ведь поорет, поплачет, смотришь, опять человек, опять ласковая, улыбается. Али вот в церкву, зачем ране ходили? Правильно — выговориться, чтоб душе легче стало. Так-то вот.— И дед опять вздохнул.— А ты на критику не обижайся. Знамо, от вас много сейчас не зависит, шестеренки вы, лекторат одним словом. А вот обидно, поколению нашему до слез обидно. Не то что-то вершится на местах, не то. Неужли он там не видит,— и старик многозначительно показал пальцем вверх.— Все, Гриша, на этом политбеседы и рассуждения закончим. Подсобирываться, однако, надо, а то домашние потеряют. Я с внучкой старшей теперь живу, как женка-то померла. Ты, мил человек, подмогни мне. Я пока с лошадежкой-то управляюсь, ты вон в корзину-то плетену, что я под грибы брал, рыбку-то собери, да на телегу пристрой. Себе, паря, откинь пяток, что похруще, на уху-жареху. Вдруг не подфартит с клевом-то,— и старик надолго замолчал, стал заниматься лошадежкой.

Григорий собрал всех карасей в объемную корзину и понес к телеге. Получился довольно увесистый улов. Себе Назаров взял в полотняную сумку четырех довольно приличных карасей, чтобы не обидеть старика. Как-никак уважил, и видно, это ему приятно. Дед закончил свою работу, все осмотрел и остался доволен. Тяжело ступая по песку, подошел к Григорию.

— Ну что, земляк, дорогой ты мой! Прощеваться будем. Спасибо тебе, что терпения набрался, отнесся с уважением к словам старика. Ты загляни ко мне в гости-то, посидим, повспоминам. О твоих расскажу в подробностях, что еще помню. Надо вам и деткам вашим знать все о корнях своих. Может где и сгодятся воспоминания-то мои. Заходи, Гриша, заходи. Больше вряд ли свидимся. Пора мне уже к товарищам-сверстникам подаваться, да и бабка заждалась поди. Все, Гриша, все, поехал я,— торопливо заговорил старик.

Но Григорию показалось, что старик чего-то еще ждал, какого-то последнего штриха. Он подошел и крепко обнял Кулагина и взволнованно сказал:

— Живи, солдат! Долго живи! И спасибо тебе за все. За правду твою спасибо, за то, что сделал в жизни, спасибо!

И Назаров увидел, как старик часто заморгал, у него стали увлажняться глаза и появились скупые мужские слезинки. Дед махнул рукой и торопливо тронул лошадь вожжами. Григорий еще некоторое время смотрел вслед удаляющейся телеге, потом присел на прежнее место и закурил. Он думал о том, что только что услышал из уст старого, прожившего долгую и непростую жизнь человека. Не было, конечно, для Назарова это каким-то откровением, думал об этом и Григорий, и с друзьями-товарищами не раз говорили. А вот сейчас, здесь, у утреннего родного озера, все это как-то аккумуляровалось, ярко высветилось в простых словах и мыслях деда. И Назаров мысленно сейчас согласился со стариком, его рассуждениями и доводами. И Григорий окончательно утвердился в мысли:

— Да, ты прав, солдат! Что-то еще не так. Слабые еще есть звенья, гнилые, в цепи дела нашего общего, важного.

Юрий Токарь
(г. Днепропетровск, Украина)



«СМЕЛЫЙ»

Окончил Днепропетровский университет, преподаватель математики и физики. Работал учителем в Чернобыльской зоне, директором школы в закрытом военном городке. Публиковался в центральных украинских изданиях, в России и Белоруссии. Автор романов «Учитель» и «Воля Божья?»

Возможные совпадения имен и географических названий — случайны.

Тральщик — это тип корабля, речь о котором впереди, а «Смелый» — его название. Возможно, другое название такому судну подходило бы больше. Скажем: «Взрыватель», «Чистильщик» или даже «Санитар», учитывая задачи перед тральщиком стоящие — освобождать море от вражеских мин, даря возможность безопасного прохода своим кораблям. Но «Смелый», в общем-то, также подходящее название. Ведь судно-борец с минами само может погибнуть в случае неслаженных действий экипажа или ошибки командира. Номер же тральщика, обозначенный на борту, был под стать гордому названию: «555». Три пятерки как три самых высоких оценки.

«Смелый» входил в состав военно-морского флота Советского Союза, а именно Черноморского, тридцать лет. Позже стал боевой единицей того же Черноморского флота, но уже Российской Федерации.

Это грустно, но жизнь кораблей, как, собственно, и людей, когда-нибудь заканчивается. Они уходят по-разному. Одни гибнут в бою, другие в неравном противостоянии разбушевавшейся стихии, многие же оставляют этот мир тихо и спокойно. Именно такая доля выпала «Смелому». Он подлежал списанию и утилизации. Черная речка, — так называется место в Севастополе, где корабли превращают в металлолом. Приближение окончания двадцатого века и исчезновение с политической карты мира супердержавы Союза Советских Социалистических Республик совпали с окончанием жизненного пути «Смелого».

Командование, теперь уже российского военно-морского флота, готовя к списанию отслуживший свой век тральщик, укомплектовали его экипаж только офицерами и мичманами. Ни к чему уже «Смелому» были матросы срочной службы. Ведь задача, поставленная экипажу, состояла только в переходе из Крымской военно-морской базы, расположенной на озере Данузлава, к Черной речке. Тральщику надлежало отправиться в последний свой путь.

При этом состав экипажа «Смелого» оказался весьма занятым. И командир корабля в звании капитан-лейтенанта, и его помощник, штурман, главный механик, а также командиры БЧ и частично старшинский состав готовились к уходу в запас. Кто по возрасту, кто в связи с сокращением штатов. Получалось так, что вместе с отходившим свое кораблем, службу оставляли и более двадцати кадровых моряков. Наверное, можно представить себе как навязчиво растекались по «Смелому», стававшие

все более осознанными в головах людей, неопределенность с неизвестностью, размываемая своим туманом контуры будущего, делаая их нечеткими, расплывчатыми. А как же могло быть иначе? Родная страна развалилась, судно списывалось, служба заканчивалась. Что же дальше?

И еще одно обстоятельство очень существенно повлияло на дальнейшие события, произошедшие с боевым кораблем и его экипажем. Алкоголь. Точнее, конечно, не алкоголь сам по себе, а пристрастие к нему командира. Да и чего там греха таить, не только одного его из офицеров. Впрочем, и среди мичманов активные поклонники зеленого змия имелись тоже. Кто знает, может фактор увлечения крепкими напитками оказался весьма существенным при формировании состава экипажа «Смелого», отправляющегося в последний свой морской путь. Большинство офицеров и мичманов принадлежали к категории так называемых «лучших людей флота».

Сорокатрехлетний Кравец Андрей Петрович, невысокий, но, наверное, бывший красивым лет двадцать назад мужчина, а теперь обладатель синих мешков под глазами, с изрядно припухшим после регулярных излиятий лицом, командир корабля стоял на мостике, привычно всматриваясь в даль, скользя взглядом по спокойной, синей воде озера Данузлав, отражающей щедрый солнечный свет.

«А скоро выйдем в открытое море», — подумалось капитан-лейтенанту. — «И что потом»? — продолжала работать командирская мысль. Понимал он, что потом конец службе, минимум двухнедельный запой, тяжелый выход из него, если он, выход, вообще настанет. Привыкание к статусу пенсионера.

«Бр-р! Жутко думать об этом. Пенсионер в сорок три года. Жена всю плешь проест. Она и с приличной зарплатой меня с трудом терпела. Да и то только из-за сына Васи. Пацану уже пятнадцать. А теперь, с пенсией... Сорок три года и всего-то капитан-лейтенант, а некоторые однокашники по училищу смогли дослужиться до капитанов первого и второго рангов. И ведь не семи пядей во лбу были».

Совершенно неожиданно в голове у Кравца выкристаллизовалось абсолютно четкое понимание: «Нет, нельзя идти к Черной речке», и сразу в его памяти всплыли лица двух офицеров военно-морских сил Украины, около месяца назад пытавшихся организовать встречу с моряками кораблей, над которыми развевался флаг Советского Союза, то есть кораблей российских. Никто тогда из друзей Кравца на украинские посулы не повелся.

«Но это тогда», — упорно пробивала себе дорогу настойчивая командирская мысль. — «А сейчас все изменилось. Надо же как-то выживать».

— Офицерам и мичманам прибыть на главный командный пункт, — уверенно скомандовал капитан-лейтенант тоном принявшего непростое, но окончательное решение человека.

Через пять минут Кравец обратился к собравшимся:

— Предлагаю. Сейчас предлагаю, а не приказываю. Принимаем украинскую присягу, поднимаем желто-голубой флаг и идем на Одессу.

Кравец замолчал. Хозяйкой рубки стала удивленная тишина. Взгляды моряков высверливали что-то под ногами. После короткой паузы командир продолжил:

— Если не хотите остаться без службы. И хотя мы со своим металлоломом, может, никому особенно и не нужны. Но это шанс. Кто не захочет принимать украинскую присягу, заставлять не будем. Вопросы есть?

Вопросов не было.

Командир отдавал себе отчет в том, что, действительно, среди офицерского и мичманского состава найдутся не желающие носить украинскую форму. Но это ничего не меняло. «В конце концов, часть моряков сможет вернуться из Одессы на базу своим ходом. А остальные станут украинскими гражданами», — подумал Кравец и скомандовал:

— Поднять желто-голубой флаг. Штурман, у вас он в каюте, подаренный украинцами. Радисту передавать регулярные сообщения в штаб ВМФ*: «следуем заданным курсом».

Как только «Смелый», пройдя фарватер, вышел в открытое море после принятия большинством членов экипажа новой присяги, он вместо юго-восточного направления, в сторону Севастополя, пошел на северо-запад, к Одессе. Радиоигра с российским штабом ВМФ продолжалась целый час, но затем последовал запрос: «Укажите причину изменения курса». Лукавить далее смысла не было и командир ответил: «Экипаж принял украинскую присягу. Следуем в Одессу».

Безусловно, вскоре информация о намерениях «Смелого» стала известна и штабу ВМС Украины. Ведь радист тральщика работал в эфире открытым текстом.

Через несколько минут после получения ответа от «Смелого», ошарашившего штаб ВМФ, за «беглецом» вдогонку направили десантный корабль на воздушной подушке (КВП) «Зубр», вооруженный шестиствольными пулеметами (моряки называют их металлорезками) и системой «Град». Скорость движения такого корабля около ста тридцати километров в час, а потому КВП смог настигнуть «Смелого» менее чем за час.

С «Зубра» по ВЧ-связи последовало предупреждение командиру тральщика: «Машину на СТОП. Лечь в дрейф. У меня приказ: в случае неповиновения открыть огонь... Не валяй дурака, Андрей!» — услышал Кравец знакомый голос командира «Зубра», с которым не раз доводилось сидеть за одним столиком офицерской столовой Крымской ВМБ, а затем прозвучали совсем недружеские слова: «ДАЮ ПЯТЬ МИНУТ!»

Кравец среагировал мгновенно, понимая, что пути назад у него уже нет. Он приказал радисту выйти на связь со штабом ВМС и через минуту сообщил о принятии украинской присяги экипажем «Смелого». Хотя, информация об этом для штаба ВМС новостью уже не являлась.

По иронии судьбы именно в это время пара украинских истребителей СУ-27, поднявшихся с аэродрома в Саках, отрабатывали учебные задачи в районе мыса Тарханкут, то есть совсем рядом с местом нахождения «Зубра» и «Смелого». Пилоты истребителей получили приказ прикрыть, теперь уже украинский, тральщик.

Известно, что приказы в армии и на флоте не обсуждаются, а потому оба СУ-27 через несколько секунд начали демонстрировать фигуры пилотажа над «Зубром», в частности эффектные «бочки», при которых самолет пролетал над палубой КВП и взмывал вверх, делая петлю перед следующим заходом. Несли ли истребители боевые ракеты, командир «Зубра» не знал.

А в это время в напряженном эфире, в радиопереговорах между штабами ВМФ и ВМС решалась судьба десятков людей, моряков и пилотов. А может быть и не только. Страшно представить, что могло случиться, если бы договаривающиеся стороны не пришли к единому решению. Но, Слава Богу, после переговоров «Зубр» ушел на свою базу. А пара СУ-27 вернулась на аэродром.

«Смелый» же через несколько часов благополучно пришвартовался у военной пристани Одессы.

Капитан-лейтенант Кравец через двое суток стал капитаном второго ранга, перепрыгнув одну служебную ступеньку. Сам тральщик, российскую собственность, доставил-таки на Черную речку уже другой экипаж, вернув его российской стороне. И ровно через месяц корабль-беглец перестал существовать как боевая единица.

А капитан второго ранга Кравец, уже с трезубцами на погонах, прослужил всего несколько месяцев, так и не порвав крепкую дружбу с «зеленым змием». Он был отправлен в запас.



Владимир Вещунов
(г. Нижний Новгород)



КИПАРИСОВСКИЙ «ЭКСПРЕСС»

Родился в 1945 году в Таджикистане в поселке для спецпереселенцев в семье донских казаков. Детство провел в Сибири. На Урале окончил художественное училище и педагогический институт. Публиковался в журналах: «Литературный Владивосток», «Полярная звезда», «Молодая гвардия», «Луч», «Казань», «Русское поле», «Нижний Новгород», «Сура». Автор шести книг повестей и рассказов. Член Союза писателей России.

Электропоезд № 6322 всего из восьми вагонов, маршрут следования Кипарисово — Владивосток, дремал под субботним сентябрьским солнцем перед отправлением в 17 часов 02 минуты.

Осень, но пляжной негой еще дышало озеро неподалеку, на 30-м километре. Еще продолжали плавиться от ожогов на Санаторной заснувшие выпивохи.

К этому часу пронзительная синь выцвела по-летнему. Белесый полог неба нагрелся до духоты. Она тяжело опустилась на железнодорожный узел.

Понурились, будто буренки в парком стойле, пожухло-зеленоватые, запачканные ржой, давно пустующие в тупике вагоны. В них складировали свой ремонтный скарб путейцы. Возле штабелей лоснящихся от мазута вывороченных шпал на ветке рельса они рядком, цепочкой в дорожных безрукавках алели снегирями. Заменяв деревянные подгнивающие шпалы на бетонные, в перекур любовались на свое творение.

Поодаль морковкой под шляпкой клетчатого зонтика от солнца торчал, видимо, их бригадир, интеллигент и чистюля.

За облупленными пятнистыми вагонами под сенью вязов зазывно белел уютный хуторок. В тенечке, напасшиеся вдоволь, прохлаждались пять ослепительно снежных козочек. От хуторка к станции бежала ручейная тропка, по которой блескуче петлился неиссякаемый родниковый ручеек. На изумрудном бережку его, будто телок, пасся пегий пес.

Эту манящую пастораль загородил состав из аляповато размалеванных, как в аттракционе, вагонов: читинских, улан-удинских, барнаульских, иркутских, красноярских и даже харьковских. Какая нужда заставила притормозить напوماженную «сборную» на неприглядной станции с приглядным названием?..

А мимо прозвучал прогонистый мотив с переборами фирменного новосибирского. Затем вызвала землетрясение железная поступь цистерновоза НК «Альянс».

Разжаренный, потный, кипарисовский «экспресс» тяжело дышал порами открытых дверей и окон, дрожал в змеящихся язычках воздушного пламени. В стрекозином шелестящем мареве утонуло все окрест: вот-вот расплавится мир и испарится...

— До отправления электропоезда, следующего до станции Владивосток, осталось пять минут! — объявила диспетчерша.

Мужики на перроне неспешно заканчивали курежку, допивали пиво; дачники-собачники затаскивали питомцев в вагоны.

Грудь на вынос, ранняя бедрастость, обабившаяся пацанка, голопупая, в короткой майке и шортах, по-свойски потормошила оцепеневшую от жары парочку: таксу и хозяйку, похожую на нее.

Антрацитная рубаша, чернильный галстук, смоляная окладистая борода; на раскаленном перроне чужеземный сектант или волонтер, истуканом изучавший расписание поездов, вдруг согнулся в три погибели — и прогремел оглушительный чих, залп за залпом. Страшное слово «аллергия»! Прямо на перрон валилась полтораметравая блекло-розовая толпища полыни-амброзии.

Скрутила чужеземца приморская сенная лихорадка. Заколотило его; слезные глаза, роса от чиха на бороде. Дико озирается, ничего понять не может. Аллергия — извращенная чувствительность. От сотрясения голова кругом. Нет даже сил сдвинуться с места к зовущей двери.

— Осторожно, двери закрыты... Дед с рейками, поторопись! И ты, бабушка со стулом! А ты в черном? Никуда не торопишься? Ну чихай, чихай на здоровье!.. Наш электропоезд следует до станции Владивосток со всеми остановками! Осторожно, двери закрываются!

Натужно заскрипев суставами, застоявшаяся электричка тяжело, со стоном тронулась с места. Полынный вал еще мощнее навалился на дрогнувший перрон. Вяло шевельнулись седовато-кремовые метелки сняты на откосе, ржавые султаны дикой рябины. Стена осоки у придорожного болотца, забитого весенне-изумрудной ряской, качнулась, и ветерок от нее до серебрения встопоршил тальниковые копейки, осветил, оживил душные ивовые кущи. Легкая волна пробежала по шелковистой луговине. Бык, жарою слепленный в пельмень, сонным взглядом проводил зеленую гусеницу электрички.

Обливаясь потом, багровый, из тамбура втащился мужичок с пучком трехметровых реек. Створ двери придерживала старушка-невеличка, держась за массивный стул. Его заволок мужчина, теперь бабка помогала ему.

Посыпались советы:

— На пол! Народу немного. Позже дачники поедут, ишь, как распогодилось!..

— Удобнее на полку.

— У меня в прошлом разе плинтуса удержались...

С помощью влюбленной парочки, оторвавшейся в тамбуре от поцелуев, в проход протиснулась и старушка со стулом, плотно «забинтованным» бечевкой. Это была величественная мебелина с подушечной сидушкой, пышной, в роскошных лилиях. Отдышавшись, бабушка поправила сбившуюся горошковую косынку шалашиком, распутала сиденье и уселась на него. По-детски болтнула ножками в тапочках-кунфуйках, чуток не достающими до пола, и тотчас задремала, блаженно откинув голову на спинку стула.

Гудящий улеем вагон. Коробейники и прочая торговая мелочь. Мобильная трескотня.

— Мороженое сливочное, фруктовый лед! Шоколадное в стаканчиках! Мороженое кто желает?..

— У-уф!.. Жарень-духотень!.. На фиг мне твое мороженое! Пиво желаю! Пиво есть?!..

Щекастый карапуз в бейсболке, в коротких штанишках и кроссовках, топчась на скамье, надувал щеки и гудел паровозом. Услышав мороженщицу, загнусавил:

— Я тоже хочу!..

— Не реви мне! Стал больно много реветь! Тебе нельзя! У тебя еще с прошлого раза горло не отошло. На вот компот попей. Бабушкин!

Малыш медвежонком обхватил банку ручонками и засопел, запыхтел, зачмокал, стоя на крепеньких ножках без маминой поддержки, слегка покачиваясь в такт бегу электрички: вот-вот уронит тяжелую, скользкую посудину!..

— Хватит дуть, Макс! А то приспичит — и где туалет искать? — мамаша забрала у него компот: хлебок — и банка пуста.

Сынок возмущенно нахмурился, но тут поезд поглотило мрачное чрево тоннеля — влажное, душное, динозаврское.

При явлении света мальчик скосил вдруг глазенки на соседку:

— А тетя арбузик проглотила!

Набожная девушка с брюшком, с Библией на коленях, державшая спину прямо и напряженно, еще более напряглась:

— Мамаша!..

Она не договорила и крупно перекрестилась, увидев в миражном мареве золотую голубку надеждинской церкви...

Встречный ветер. Дробный стукоток с подскоками, тоскливый свисток раздольной электрички!..

— Надега! Извините, Надеждинская! Следующая — 37-й километр! Извините, то есть, наоборот — Совхозная!

Никак не могут распрощаться две молодящиеся мадамы, обе громоздкие, с пудельными кудерьками — близнецы-двойницы. Одна уже на перроне с мобильником, вызывает сестрицу «Вальсом цветов» из «Щелкунчика». Та игриво отвечает:

— Пока-пока! Чмоки-чмоки! Покушечки, поцелуйчики!..

Ссугулившись, в балахонистой серой ветровке, накрывшись безголово капюшонном, зашмыгивает в вагон шпаненок. Руки в карманах сдвинуты на пуп; приבלатненная походочка — скрадывает воровскую добычу.

Хрупенькая беляночка, гитара с виолончель, ручьистый голосок:

— Дорогие попутчики! Эту песню я посвящаю родному Надеждинскому! — и, минуя первый куплет, она начала прямо с припева: «Надежда — мой компас земной...»

Не успела допеть куплет, как из угла перед тамбуром вскочил мужик, жердяй. Он с семьей обустроился среди баулов и тюков. Жена его нянчила моську и помогала сынишке разрисовывать книжку-раскраску.

Мужик уважительно положил в бейсболку гитаристки десятку и увязался за ней, наслаждаясь ее пением.

Собрав рубли, она, благодарная за внимание, по-мужски рванула струны и с надрывом выдала свое:

*Вечер-смутьян на выдумку горазд,
Он терпеть не может одиночества:
Выброшена робость за борт, как балласт;
Здравствуй, смелость — мушкетерское высочество!*

Щедрый почитатель положил в копилку еще десятку и устремился за певуньей, перешедшей в передний вагон.

Уже там послышалась любимая народная:

Расцветали яблони и груши!..

Раздались одобрительные голоса:

— Вот это по-нашему!
 — Молодчина девчонка!
 — Талант! Десять рублей не жалко!
 Разбитной газетчик заглушил восторги:
 — Книжка про ягоду-малину! Уникальное издание! Мировой бестселлер! Читается легко, почти невесомо. Газета «Мир криминала». В Подмоскovie бандитами без предупреждения велась стрельба на поражение!..
 Следом, толстый, громоздится пекарь:
 — Пирожки!..
 — Сосиська в тесте! — зная его речевку, с издевкой подсказывает мужичок с ведерком помидоров на коленях и хихикает квакающе.
 — Сосиська в тесте,— вяло соглашается пирожовник: в такую-то жарень!..
 — А пиво есть? — алкает страждущий смертно пивобрюх, сдирая, будто кожу, тельник.
 — Дайкон! Черная редька! Семена самого высокого сорта!
 — Свет, чего хотела? Я в электричке еду. Вике ключи оставила. Проверяли ли хоть квартиру? А то домушников, форточников расплодилось!.. Ты не по этому? Кроссворды отгадываешь? Ну ты дае-ешь! Ах, я же знатная кроссвордистка! Какое слово? «Цветочек у меня в садочке»?..
 — А вот еще талант!
 Гармонист в довоенном кепарике-восьмиклинке с пуговкой ухарски наяривает:

*Не горюй, жена Алена:
 Живы будем — не помрем!
 Подрастет трава зелена —
 На подножный корм пойдем.*

*Эх, играй, моя гармошка,
 Десны красные покажь!
 Поживем еще немножко,
 Россия держится пока...*

— Держится...— вздыхает мужичок с помидорами.
 Судьба России тревожит многих.
 — Зато вон замки! Еврокрыши черепичные. Ядовитые!..
 — Здесь барство дикое!..
 — Чтобы развалить государство, надо обогащать богатых и обнищивать бедных.
 — А нам, русским, хоть в лоб, хоть по лбу!
 — Удары судьбы в лоб означают, что бесполезны ее пинки под зад.
 — Вон наша судьба. Лица желтые во Владике кружатся...
 — Соленьи арахис! Калимар к пиву!
 — К пиву?!.. А оно есть? Нет? Тогда отвали!
 — Мальчика-капитана! Вот чуп-чупс! Вкусный. Даром бери. Угощайся!..
 Максик перестает гудеть паровозом и протягивает китайцу пухлую ручонку. Мамаша шлепает по ней:
 — Не бери, Макс! У нас свои есть. Бабушкины. Ишь, рожа — хунхузская, а теперь нашим детишкам чупы-чупсы сует...
 И она достала из полосатой сумки свое. Леденчик-петушок на палочке! Рубиновый огонек, зоревой, переливчатый. Живой. Вот-вот кукарекнет. Сколько же ему веков — русскому, неповторимому, несгибаемому?!.. Ай да бабушка у Макса — руко-

дельница, хранительница леденцового искусства! Топленый сахарок с медком, с мамино-земляничным соком заливается в петушковую формочку. А ежели по старинке, то еще имбирь для пряности добавляется. Никакие чужеземные чупы-чупсы с таким чудом не сравнятся!..

Ходячая груда разноцветного тряпья:

— Носовые платочки, шулошек, носочек, маещек!..

Перламутровая, в бисере, милая игрушка: сексуальные стоны, дикий хохот, скандальный ор, дребезг стекла...

— Ой, Вик! Мы с Эдькой — у него... Ну, понимаешь, о чем я? Предки на дачу рванули, вот мы и... Супер! Хочешь, мы тебя с его дружбаном?.. Не вопрос. Натуральный Дима Билан!..

Сунула триндозвон в стильную бисерную сумочку. Погрызла ногти. Достала универсальный ножичек-складешок. Чик-чик! Стрижет ногти, коричневые, протабаченные...

Резиново скрипит сыр в деснах ветхой, косматой смертушки. И вдруг эта бабка-ежка выпутывает из одежных лохмотьев запищавшую чешуйчатую «рыбу». Прогресс!

— Фень?.. Да ты чо? У вас в Сучане дождь? А у нас парилка. Ну и край! Да и во Владике так же. На Второй Речке — солнце; а в Гнилом Углу — туманы, морось... А ты вот чо, Фень! Кардонка впитывает всю влагу. Ее и пользуй.— То ли поветрие с «чмоками» заразило ее, то ли собезьянничала, подслушав «сестренку»: — Ну, Фень, пока-пока, а то у меня говорильник скоро упокоится. Чмоки-чмоки!..

Еще один газетчик — дюжий, зычный. Такому Муромцу докером бы в порту силушкой похвалиться. Да пустеют кормильцы морского края. Поникли головы трудяг — «жирафов»...

— Есть журналы! «Тайны века». Самое мистическое «Джентри». И еще тайны — «Тайны звезд». Свежие. Газеты, журналы, сканворды! Японские тоже. Расписание электрички со всеми остановками. Пять рублей всего!..

— Тайны...— вздыхает седой, лысоватый дачник в темных очках и с горбатым рюкзаком на коленях.— Вон, как объяснить сие странное явление природы: вся Шамора — в морских гребешках. Подпитывает Нептун население.

— Да-да, я тоже удивилась! — пышка перестала возиться в своих сумках.— Интересно как! Бывает же в природе такое! Своему Витальке расскажу — не поверит, хоть читает про всякую ерундистику в «Джентри».— Она мигом проглотила булочку, два бублика, успев при этом кляксово подмалевать перед зеркальцем мобильника булочку губ: — Виталя, ты не поверишь!..

На Амурском Заливе, как обычно, «экспресс» застрял.

— В связи с ремонтом путей поезд задерживается ориентировочно на семь-десять минут. Приносим извинения с доставленными неудобствами!

— Неприятности — это еще не самое плохое из того, что может с нами произойти,— воздев палец кверху, умно изрек «рюкзак».— Хуже всего, когда с нами ничего не происходит.

— Скажете тоже...— с вездесущим «пока-пока» пышка захлопнула книжку-мобильник.— А мой Виталий говорит, что самая лучшая новость, когда нет никаких новостей.

— Сенсационная новость! Щедрые дары океана! Весь пляж бухты Шамора усеян гребешками. Тайфун выбросил на берег тонны ценного деликатеса. Люди собирают его ведрами! Универсальный морепродукт! Можно сварить, поджарить, добавить в салат, потушить, замариновать. Вкус этого деликатеса обогащает общую палитру любого блюда своей нежностью!.. Свежие новости! Читайте в газете «Свежие новости»!..

— Хорошая прибавка к пенсии!

— Надо поспешить, пока не поздно!

— Да, поди, уже все собрали...

— Граждане пассажиры! Будьте бдительны! Во избежание террористических актов не трогайте бесхозные вещи! В случае обнаружения оставленных предметов сообщайте полиции или машинисту электропоезда!

Щедрый любитель гитарной песни с блаженной улыбкой вернулся к семейству. Никто на него не обратил внимания. Жена разговаривала по мобильнику с юристом об оформлении документов на усыновление. Месяц назад умерла сестра, разведенная, оставила сиротой четырехлетнего сынишку.

А он, математик, считал мелькающие вагоны:

— Один, два, четыре, пять, восемь...

В высверках солнца его русая головка казалась седой. На него из кошелки с сиротской печалью смотрела пегая остроухая собачка, тонюсенько поскуливая.

Папаша примостился на опрокинутом ведре напротив семейства, развернул газету и, бормоча, принялся кроссвордничать:

— Мучной уголок в амбаре? Та-ак-с... Колобок. Не-а! Су-сука... Сусека!.. А здесь... Как же его, грека этого?.. Они еще поплыли руно искать — ценный такой каракуль. И капитанил у них... Эх, екарный бабай!.. На «Арго» они плыли, еще водка в честь его названа. Спасская. Ничего, не сучок...

— Пиф-паф! Ой-ой-ой! Умиляет зайчик мой! Увезли его в больничу — и уклал он лакавичу...

От «стрельбы» старушка на стуле по-куричьи склонила голову набок, легонько встряхнула ею:

— Не лакавичу, а ру-ка-ви-цу, — ласково поправила она малыша.

Он снисходительно улыбнулся и продолжил считать вагоны:

— Один, два, тли, семь...

Старушка опять вмешалась в счет:

— А четыре, пять, шесть где?

Мальчик насупил и прервал мобильный разговор матери:

— Мама, а почему дядя говорит: «Двели закльваются!»? Ну ма-а!..

Она успокаивающе погладила сынишку по пшеничному чубчику и поспешила закончить юридический разговор:

— Да-да, товарищ... господин адвокат... Возраст у нас еще подходящий, квартирные условия не стеснены, работаем оба, бюджет стабильный, медсправки все есть и куча всяких других документов... Извините! — резко оборвала затяжное пояснение и до вихров потрепала «почемучку»: — Он остановки объявляет, и чтобы в них никто не попал.

— В двели?

— Да!

— А давай пло «да»!

— В совхозе «Победа» во время обеда случилась беда — пропала еда. Ты съел?

— Да-а-а!.. — ликующе вскричал малыш и бросился в объятия матери: — Ма-ма! —

Он обхватил ее шею ручонками, будто его собирались оторвать от нее.

Мать родную неласковая судьба отняла у Ванечки месяц назад. Два года страдала неизлечимо, сердешная. Родная... Навещал маму в больнице с тетей и дядей и со временем их стал звать мамой и папой. Им же Господь ребеночка не послал. А тут... Как говорится, нет худа без добра. Радость рядышком ходит с горем.

Поглаживая в объятиях сыночку, вытерла женщина счастливую материнскую слезу и слезу печальную — о сестре. Отец, бросив кроссвордничать, придвинулся к жене и сыну, потрепал его взъерошенный чубчик.

Старушка на стуле мельенько поморгала и переживательно затеребила лепестки косынки: она слышала разговор об усыновлении.

Малыш выскользнул из объятий матери и, скоренько посчитав мелькнувшие вагоны, соскочил на пол:

— Бабушка, а можно я на стуле посижу?

Та споро, по-детски, слезла со своего сидения:

— Посиди, касатик, посиди! Вон какие у тебя мама и папа заботливые.

Ванечка чинно уселся на стуле, скрестив ножки, однако начал почесывать ручонки. Старушка, стоя рядом, погладила их:

— Эх комарицы-стервицы тебя покусали! Календулой, ноготками потри — укусы и заживут.

— Нет, не заживут! Коготки наоболот колябают.— Он резво вскочил и, держась за спинку, запрыгал на стуле: — Бабушка — калябушка, бабушка — калябушка!..

— Ванечка, нельзя так! — мать ласково шлепнула его по попке.

— Ой-ой-ой! — притворно ухватился он за «ушибленное» место.— Умиляет зайчик мой! Увезли его в больничку — и уклал он лакавичу... Не заживет! Не заживет!..— почесал ручонки — и встал как вкопанный: — Мам, а когда мы в больничку пойдем?

Мать посадила его на колени:

— Скоро, сынок, скоро...

Непостижимо отозвалась чуткая детская душа на мамино горе, на свое, сыновнее, далекое — близкое, непонятное и отторгаемое. Потому и не сказал «в больничку к маме». И как бы оправдываясь за свое умолчание, опять же притворно, как от боли, скривился:

— Там уколы делают. Плохо там пахнет. Ле-кал-ства-ми...— склонил головку к материнской груди и навстречу подлетающему сну улыбнулся уютно...

Запашистая вагонная разноголосица... Дух земли, пот людской, плодово-овощные ароматы, пирожковая прогорклость, псина, алкания недовыпивших мужичков, типографская газетчина, пряные вкрапления цветов и мороженого...

Разнобойный и в то же время единый хор вагона... Он, добрый хозяин, несет в себе труд и дрему усталых дачников, деловые встречи, юные ожидания, судьбу маленького Ванечки... Несет дорожное время; скрадывают его, долгое-предолгое, пустопорожние «балалайки». «Просыпаются» они от кукареканыя, ядовитого хихиканыя, от «Ласкового мая», «Полета шмеля», кукованыя, дикого хохота, колокольного звона, дребезга стекла, «Вальса цветов», сексуальных стонов, «Прощания славянки», скандального ора, «Пещеры горного короля», собачьего лая... «Гав! Гав!..»

— Я слушаю, дорогая! Понял! Да! Позвони Кузьмичу насчет машины, если не поздно будет. Щебенку оплати. Машину пусть завтра подгонит. Але!.. Не забудь, позвони Кузьмичу. Да нет, еще не поздно! И за щебенку заплати. Насчет завтра договорись...

— Ой, Вик, я побежала! Билеты проверяют!..

— Не ветеранка я. Льгот мне не дадено, года не хватило. А пенсия — и восьми нет.

— Не ветеранка ты, а ветеринарка! Ишь как скотину прешь!

— На ярманку ташшу. Может, купят. А не то в церкву унесу. Мне его на барбо-ску Петро-сосед поменял. Ране у его обстановка была, да с Клавкой разошелся, запил. Одному тоскливо, вот мою Лиску, Лисаньку, за стул и выпросил. Все вдвоем весельше...

— Не заливай, бабка! — оборвала старушку дородная ревизорша с эржэдэвской бляхой на мундире и грозно объявила: — Проводятся мероприятия по безбилетному проезду!..

— Женчына без попы, что всадник без головы! — икая, уважительно оглядел ре-визорские достоинства пивобрюх.

Та метнула на него уничтожающий взгляд. Он протянул ей билет, зажатый в потном кулаке, и залепетал:

— Командир, ты чо? Ну ладно, командир...

Она же надвинулась всеми телесами на старушку, горсткой вжавшуюся в величественный стул, и снова рявкнула:

— Проводятся мероприятия по безбилетному проезду!

— Вер,— тихонько, чтобы не разбудить Ванечку, муж дотронулся до плеча жены,— давай матери оплатим проезд.

Она растерянно взглянула на него и зашептала:

— Да поиздержались мы. Ты вот за гитарой хвостом вязался, десятками щедрил. Мороженки самые дорогие, эскимо слакомили. Нашу Кнопку оштрафовали, аж на пятнадцать рубликов. Теперь она — не «заяц». Как путевая. А, Кнопушка?.. Непредвиденный расход. Вот, осталось только на автобус.

— Да ладно, Вер! На Моргородке выйдем. А там пешочком прогуляемся. Бабуля, тебе куда? Та-ак, скоко у нас в наличии? Ей, командир, токо до Спутника. Вот, сорок пять рэ! Держи, мать, билет! Теперь ты не «заяц», а как наша Кнопка.

Ручкой, куричьей лапкой, старушка с бережью, как бесценную иконку, взяла беленький квадратный клочочек. Словно не веря в подлинность его, посмотрела на просвет. Аккуратно положила в прозрачный пакетик, где у нее, похоже, хранились документы. Заморгала часто, смахивая сухонькой ладонькой неожиданную слезу; медленно закрестилась:

— Спасибо! Спаси вас Бог!..

— Ладно, мать, не расстраивайся! Все мы — свои люди. Вон как все цаплями любятя!..

Перед синюшным маревом горизонта, слившегося с тусклой морской полосой, сверкнула узкая латунь озерца на заливном лугу. Посреди него, словно продолжая камышовый «частокол», рядком выстроились «камышинки» цапель. Серые, с хохолками и пестринами, голенастые, они балеринно подогнули ножки: вот-вот исполнят танец маленьких лебедей...

Заповедное место это, будто святыня, неудержимо притягивало к себе взоры и души «электрических» пассажиров. И чудилось, от прильнувших к окнам людей крепится состав к манящему омутному озеру, к грациозным птицам — к природе, такой близкой и такой далекой, к ее любви... И это неизъяснимое притяжение смущало, счастливо до просветления. Такая сладостная тайна. Люди — дети... И в таинстве этом Божественном — их сродство. И в переживании сродства этого вагон виделся старушке добрым миром. Ему она верила и смотрела на него слезно-счастливыми глазами с надеждой...

— Але! Костя, это я. В электричке. Тут стул можно купить. В сидячем состоянии. Недорого совсем. Как куда? Светке подарим. У нее юбилей скоро: сорок три года. Забыл? Ну тогда в гараж. Не хозяин ты, Кось! Ничего-то тебе не надо по дому. Никакой заботы. Ну ладно, все равно встретить меня. Машина-то хоть на ходу? А то ташу огурцы, помидоры, да еще гладиолусы. Где-где? На привокзальной площади, у киоска с бургерами. Э-эх!.. А стул-то самый подходящий!..

Победоносно, с запотевшей бутылкой воды, как со знаменем в руке, восшествовала в вагон «спасительница» с клеенчатой хозяйской сумкой:

— Жарень-духотень! А у меня для вас холодненькая водичка! Все расхватили — две воды осталось. Вот красавицу с булочкой разжарило. Все! Ей досталось!..

— А пиво есть? — безнадежно, першаще прохрипел пивной бедолага.

«Водница» заговорщически наклонилась к нему и благодетельно зашептала:

— Есть, мужчина, есть! Токо в газетке храни, а то стучат,— воровато озираясь, вынула из сумки банку, плотно завернутую в газету.— И тебя могут штрафануть. Нельзя в общественном месте!..

Ошалело, с разинутым ртом, бедняга недоверчиво вперился в газетный сверток. Тряхнул головой, как от наваждения, но все же принял этот неожиданный, бесценный дар. Расплатился со спасительницей и выдохнул горячо:

— Вот это МЧС!

С любовью, словно новорожденного, прижал к изнуренной груди вожделенный сосуд, распеленал его и дернул за колечко.

— Буду петь! — в полосатом замурзанном халатишке, не то пацанка, не то пацаненок, «чудо» почесало золотушное ухо и зачастило: — Там-бурам-бум! О-о-о!.. Там-бурам-бум! Добрый люди, дай две рубли! О-о-о!..

Ощутило цыплячьей спиной жар надвигающейся туши и успело ушмыгнуть за эту громадину.

Ревизорша нещадно заколыхалась над старушкой. Та по-детски воззрилась на нее снизу вверх, точно невинная на судьбу.

— Чо уставилась? Забирай свой трон — и на выход! Спутник скоро. Кончился твой халаянный билет!

Вагон возмущенно зароптал. Оплативший бабушкин проезд возмутился:

— Да вы сами сейчас вылетите, как пробка!

— Что-о?!.. Люд! — крикнула оскорбленная напарнице, вошедшей в вагон.— Зо-ви полицию!

— Вон здоровенные «зайцы», как лоси, от вас сигают. За ними и гоняйтесь! А вы к бедной бабушке пристебались. Она даже места не занимает. У нее свое.

— Как же, обеднела! Весь проход заняла. Будто царица на троне, восседает. На мебель, такую дорогую, деньги есть, а на себя нет. А вообще-то, пассажир, почему вы нас оскорбляете? «Пристебались...» Кто дал вам такое право оскорбляться? Мы при исполнении и счас полицию вызовем, и вас хорошенько оштрафуют. Люд, зови!..

Припыхали два мышастых амбала с дубинками во главе с Людкой. Та попробовала пригасить накал:

— Что за шум, а драки нет?

Но стражи порядка сразу «вычислили» нарушительницу:

— Ну ты чо, бабка, ва-аще, крысятничаешь? Стул вон какой! Престол! На таких токо фараоны да цари-императоры сживалии...

Доселе неприметно сидевшая у окна дама властно встала. Сидевшие рядом с ней враз ужались, и она, статная, огнекудрая, в блескучем платье, свободно вышла в проход. От ее царственного мановения руки кучешка служителей порядка подвинулась от «престола».

— Вас как величают? — будто ограждая старушку от дальнейшей напасти, она положила на спинку стула свою божественную руку.

— Баба Аганя.

— А полностью?

— Федоровна. Агафья.

— Агафья Федоровна, я давно приглядываюсь к вашему стулу. Он мне очень приглянулся. Ежели за две тыщи?..

Старушка плаксиво заморгала, личико жалостно сморщилось.

— Что с вами, Агафья Федоровна? — участливо, как врач, спросила покупательница.

— Да я на добро так... Нонче его маловато.

Она соскочила со стула, боголепно распахнула глаза на дивную деву и истово закрестилась:

— Ясны очи! Ясны очи!.. — богородичные очи будто смутили ее разум, и она, завороженная, покорно приняла Божий дар. — Да храни вас Господь!

Купив билет до города, вышла на Седанке: там, в церкви уже шла вечерняя служба. Провожая отходящий счастливый поезд, крестясь, низко кланялась всему доброму люду в нем, чудотворной деве — всему миру, сотворенному Богом.

И блистал солнечно-радужно нарядный перрон, узорчато-паркетно вымощенный плитками...

До горизонтной золотисто-сиреновой дымки раскинулся залив. Среди морской ряби сверкали притишенные зеркальные проплешины. Могучий зеленый ветер поезда будто тянул за собой включенные снежные буруны, паломниками припадающие к обетованному берегу.

Обладательница стула застыла рядом с ним с какой-то неизъяснимой, нездешней далью в глазах, словно видела себя бегущей по волнам.

— Чайка! Следующая Вторая Речка!

Она вздрогнула, повела затуманенным взором по вагону и направилась к выходу. Некоторые даже привстали, взглядом провожая ее.

— А стул? Вы стул забыли!..

Она уплыла в золотом зареве, плещущем сквозь окна...

Сверкнула, чиркнув серебряным крылом по вагонному окну, отчаянная чайка.

— Если чайка летит задом наперед, значит, ветер сильный! — икнув, похлопал себя по довольному урчащему пузу пивной счастливец.

— Вот мимо пляжей ездим. Лет десять не пляжила, — примяла трудовой ладонью жидкие — вей, ветерок! — обесцвеченные перекистью волосы увядающая, но все еще приятная женщина. — Все дача и дача...

— Да что вы говорите?!.. — изумленно воскликнула соседка ее, «барынька» в замысловатом розовом чепце, как будто та сообщила нечто невообразимое.

В долгом дорожном разговоре она нет-нет, да и вставляла с умным видом эту фразу. Другая же их соседка по скамье, сидевшая с краю, с виду горделивая и осанистая, на каждой остановке заплотшно вскакивала и растерянно вертела головой:

— Где мы? Где мы?..

— Ля-ля — три рубля! — с утробной отрыжкой урезонил бестолковку «пивопитек». — Вторая Речка!

— Олигарша, небось... — не сразу стали обсуждать странную даму местные обыватели: величественный дух ее витал над вагонной будничностью.

— Вон какие деньжищи вывалила старушенции!

— Экий стулище — и не забрала.

— Не-е, они так-то с нами не ездят. У их шофера и охрана.

— А чо она тогда выделяется, простую из себя корчит? А вон как разодета!

— Да ничего особенного. Просто женщина видная, а платье нарядное.

— А как же стул?..

— На восьмой путь высокой четвертой платформы прибыл электропоезд «Кипарисово — Владивосток»!

